

Духовный путь Сергея Есенина

Его поэзия – словно мы сами. Всенародное признание этого художника есть нечто большее, чем только популярность. Национальный гений, Есенин (как до него Пушкин, как, может быть, Лермонтов) обладал редким, исключительным свойством выражать не только отдельные, хотя бы и очень существенные, стороны народной души, но открывать и постигать ее всю, в бесконечной сложности и многообразии. Между тем сбывался этот великий дар (не потому ли, собственно, и сбывался?) в необычайно тягостную, смутную пору отечественной истории.

Россия стояла на краю гибели. Первая мировая война, крушение вековой государственности, братоубийственная гражданская рознь, казалось, предвещали стране полное уничтожение. Русский дух переживал колоссальный, мучительный «сдвиг», пребывал в состоянии глубокого смятения. И во всем сопричастная ему есенинская муза тоже оказалась исполненной самого неподдельного драматизма. В меру своего огромного таланта Есенин острее многих современников испытал единый для всех небывалый натиск черных, богоборческих энергий, готовых замутить любые животворные ключи. Отсюда рождалась пронзительная интонация его стихов, их неповторимо трагическая гармония.

Удивительной, неподвластной обычным человеческим меркам была его судьба. За тридцать лет, отпущенных ему на земле, Есенин успел так много, словно прожил огромную жизнь. Изменчивость созданного им поэтического мира тоже выглядит беспримечной. Оставаясь полностью самим собой, этот художник вместили в себе одного словно бы нескольких поэтов. Исключительная широта внутреннего диапазона, столкновение несходящихся крайностей были присущи ему, как мало кому еще в истории русской литературы. Но в этих взлетах и падениях, стремительных переходах от святости к безбожию, от кротости к буйству и все-таки вечной способности к возрождению явила себя сама Россия новой эпохи.

Не потому ли эта поэзия так волнует русское сердце, что в ней мы открываем воочию источник нашего счастья на земле и вместе с тем прикасаемся к тайне собственной неустроенности, внутреннего и внешнего разлада? Сергей Есенин полнее и глубже, чем кто бы то ни был из поэтов – его современников, поведал о русской катастрофе уходящего века. Он – певец этой драмы, имеющей не только национальное, – мировое значение, не завершенной, увы, и по сегодняшней день.

Весной 1915 года совсем еще юный Есенин приехал в Петроград. Успех молодого поэта был стремительным и громким. Невысокого роста, светловолосый, удивительно подвижный, с голубыми, постоянно меняющими свой оттенок ясными глазами, этот уроженец глубинной России, представитель коренного русского сословия – крестьянства, привлек всеобщее к себе внимание. Облик его на редкость органично соединился с духовным строем привезенных им стихов.

Литературный Петроград, город военной поры, то с неподдельным восторгом, то снисходительно улыбаясь приветствовал явление самобытного таланта. В нем искренне хотели видеть живую, солнечную Россию, не тронутую тусклым сиянием «серебряного века», далекую от его смутных теней. Эти стихи, «свежие, чистые, голосистые, многословные», по словам, собственно, и открывшего молодому поэту путь в литературу Александра Блока, были той поэзией, которую ждал русский город 1910-х годов.

Сам он, разумеется, лучше других сознавал собственное призвание. Что бы там ни говорили о счастливом повороте судьбы, о несомненной удаче, о моде на его стихи, юноша Есенин во многом сознательно создавал свой поэтический образ, выстраивал отношения с художественным миром северной столицы. Он удивлял завсегдатаев литературных салонов не только смелостью, пленительной красотой своего стиха, но и, не в последнюю очередь, подчеркнуто крестьянскими манерами, мог часами на публике или в дружеском кругу петь под гармонику родные рязанские частушки. Между тем за этим очевидным каждому «местным колоритом» скрывалась напряженная внутренняя жизнь, лишь великому поэту свойственная полнота видения мира.

«Избяной», как многим тогда казалось, поэт Есенин «пережил душой» наследие Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, превосходно усвоил уроки лучших современных мастеров. Он выступал продолжателем огромной традиции. И была закономерность в том, что русский творческий дух накануне близких потрясений самым непосредственным образом заявил о своих истоках, получил высшее проявление в поэзии человека из народа. Талант Есенина только с первого взгляда выглядел безоблачным. На самом же деле свет и тени русской истории, как бывает перед грозой, обозначились в нем предельно ярко.

В рязанском селе Константинове, где 21 сентября (3 октября) 1895 года он увидел свет, поражает необычайной красоты картина, что

открывается с высокого берега Оки. Огромное, на километры вдаль уходящее пространство земли: излучина реки, луга, дальше – лес до самого горизонта. Над всем этим – безграничное небо, которое сходится с землей почти незаметно, словно переходя в нее и проникая собой. Константиновские земные обитатели кажутся поистине благодатными. И, как видимый воочию духовный мост, соединяющий временное пристанище человека с миром вечной жизни, стоит на речном откосе, напротив дома Есениных, церковь Казанской Иконы Божией Матери. В ее стенах венчались родители поэта, Александр Никитич и Татьяна Федоровна, в ней он был крещен именем Сергей.

На рубеже двух веков, XIX и XX, русская деревня еще хранила традиционное, создавшее и укрепившее Россию, сознание того, что родная земля – это подножие Престола Божия, новый Иерусалим, что истинное отечество каждого россиянина – в царстве ином, непреходящем. Бабушки и деды Есенина, люди православные уже по своему родовому определению, – крестьяне, хорошо знали эту главную истину, полученную в наследство от своих бабушек, своих дедов. Те из них, кому довелось заниматься воспитанием внука, сделали все, чтобы вдохнуть ее и в душу будущего поэта. По прошествии многих лет Есенин, говоря о поэтической книге «Зарево» своего друга Петра Орешина, напишет: «Даже и боль ее, щемлящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу, и думы ее в четких и образных строчках рождают милую памяти молитву, ту самую молитву, которую впервые шептали наши уста, едва научившись лепетать: «Отче наш, иже еси...» Евангелие, жития святых были настольными книгами едва ли не в каждой деревенской семье, и данные в них миру высокие истины воспринимались поэтом так же естественно, как воздух, которым он дышал.

Неотделимая от веры отцов народная культура – духовные стихи, обрядовые песни, в которых веками являла себя Православная Русь, – тоже очень рано получила отклик у него в душе. Сам уклад жизни, не всегда праздничной, омрачаемой горестями и утратами, но теплой даже и в тяготах повседневности, заключал в себе высокую гармонию: с его малым космосом – избой крестьянина, чередованием забот сменяющихся времен года, умными животными – ведь и они в селе тоже работники. И вся земля вокруг – ее луга, поля, березовые перелески, – как любая земля в России, только по-своему, по-рязански, отражала лучи незримого Божественного света. В этих лучах, щедро излившихся на будущего художника в начальную пору жизни, происходило становление его таланта. Отсюда – многое из того, что отличало уже первые его стихи: редкая поэтическая искренность, особая мелодичность, напевность, сочные и яркие, укорененные в искусстве русского народа метафоры. Отсюда – никогда не увядающая нравственная отзывчивость есенинской лирики, в разные годы написанных больших и малых поэм.

Он начинал, что было вполне естественно, как певец дорогого ему крестьянского мира. Увиденные изнутри живые приметы русской деревни наполняли собой едва ли не каждое создание молодого художника. Это же относится и к поэтическим его настроениям. Творчество Есенина уже самой первой поры впитало в себя целую «радугу» народного мироощущения: и твердое, незыблемое признание святости земледельческого труда, и молодую «жениховскую» радость весеннего обновления жизни, и врачующее душу чувство единения с родной природой. Но за любой чертой близкого поэту сельского обихода, за каждым, не ему одному свойственным, переживанием угадывалось и нечто большее. Есенин обладал умением «собирать» в едином звуке Россию земную и небесную, открывать словом ту потаенную связь, что определила на века судьбу России, судьбу каждого из русских. Простая жизненная подробность, непосредственная эмоция в то время, как правило, выступали у него проводниками возвышенного и чистого созерцания. Ему достаточно было сказать: Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных.

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных... —

и огромная страна с ее прошлым, будущим в единый миг представала перед глазами. До последнего вздоха поэт любил «малую родину», но с первых своих шагов принадлежал Родине вечной.

Православные мотивы, то восходящие к народному творчеству, то подсказанные впечатлениями современности, воплотились в есенинской поэзии дореволюционных лет с невиданной полнотой. В свою очередь, церковная лексика проникала в этот художественный мир как необходимое, связанное с его сутью и смыслом, изобразительное средство. Но и там, где ее не было, стихи Есенина сохраняли порой почти молитвенную, благоговейную чистоту. Предчувствие особой, скорбной и радостной, судьбы Отечества, где Христос, Его любовь, Его страдания служат прообразом жизни каждого человека и всего народа, где только во Христе возможно обретение вечного блага, слышалось во многих стихах юного поэта. Великая тайна русской печали, русского счастья, русского торжества обретала у Есенина подлинную силу лирического прозрения: Потонула деревня в ухабинах,

Заслонили избенки леса.

Только видно, на кочках и впадинах,

Как синеют кругом небеса.

.....

Но люблю тебя, родина кроткая!

А за что – разгадать не могу.

Весела твоя радость короткая

С громкой песней весной на лугу.

Впрочем, земная родина поэта в то время, на которое пришлось детство Есенина и затем начало его литературного пути, существовала уже далеко не во всей первоизданной своей силе. Дух материализма, провозгласивший мирские цели единственно достойными человека, скрываясь под видом всевозможных «исканий», а то и прямо заявляя о себе идеями ничем не прикрытого атеизма, получал в России все большую свободу и размах. Он напитал собою воздух, им дышали «передовая» культура, философия, социальные учения, он давал о себе знать и в повседневных отношениях между людьми, и в том, как россияне, многие из них, понимали теперь будущее своей страны и мира. Сказанное относится прежде всего к образованным сословиям. Но по-своему те же темные ключи били и в самой глубине народной жизни.

Великое брожение эпохи не могло не отзываться, так или иначе, в натурах чутких, мистически настроенных. «Рано посетили меня, – вспоминал Есенин позднее, – религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать». После того как поэт, окончив у себя в Константинове начальное земское училище, пройдя трехгодичный курс в учительской школе небольшого рязанского городка Спас-Клепики, переехал на жительство в Москву, эти настроения не исчезли. Они принимали в разную пору оттенки модного среди городской молодежи толстовства или окрашивались в не менее популярные социал-демократические тона. Скажем больше: молодой художник при всем его цветущем таланте вряд ли завоевал бы всего несколько лет спустя столь широкое признание, получил дорогу в наиболее известные журналы, не коснись его сокровенного мира также и смутные веяния «века сего». Только в отличие от городских его собратьев он переживал нарастание «всемирного подлога» прямо из глубины народного мира. Тут подменялась почти незримо уже святая святых национальной судьбы, так волшебю осветившая собой творчество поэта.

Из поколения в поколение русские люди жили сознанием того, что, хотя и стремятся они уже на этом свете следовать Евангельскому идеалу братства и любви, все же прекрасная вселенная, где им довелось родиться, их поиски всеобщей справедливости есть только бледное, несовершенное подобие Царствия Небесного – мира вечной правды и красоты. Рано или поздно, верили они, придет, по откровениям Священного Писания, никому не ведомый миг. То будет конец света и второе сошествие к людям Христа Спасителя. Тогда сгорят оскверненные грехом старая земля и небо, уничтожится в мире все нечистое, настанет Царство Божие на земле. В этом заново сотворенном мироздании обретут бесконечное блаженство праведники всех времен. Собственно, ожидание последнего торжества над смертью, тленом, страстями дольного мира, неусыпная забота о его стяжании стали главными причинами русского духовного расцвета.

Именно такое тысячелетнее ядро национальной жизни и стремился теперь сокрушить лукавый дух времени. Делалось это, увы, не без успеха. В России, конечно, оставались – не могли не остаться – настоящие светочи Православия, тем более заметные среди густеющего мрака. Но во многие сердца уже закралась уверенность, что земное подобие Божественного совершенства ни в чем не уступает вечному добру, что возможен рай на земле, построенный самим грешным человеком. Новые верования новой эпохи причудливо и коварно проникали в души современников, оплетали собой вековые, священные понятия, паразитировали на самых живых основаниях народного бытия.

По-отечески светлое восприятие мира очень скоро обернулось у Есенина желанием поклониться не Творцу, но только Его творению, воспеть словно сам по себе прекрасный белый свет. Православное чувство и безоглядная приверженность земному раю заявляли о себе почти одновременно, в соседних по написанию его стихах, иногда – в одном и том же произведении. Подобное смешение полностью несовместимых начал создавало тревожное поле не осознанного самим художником внутреннего конфликта, широко вобравшего в себя всю напряженность эпохи.

Законы духовной жизни, те, что направляют судьбу каждого народа и человека, едины для всех – национального гения или простого смертного: еще никому на свете не удавалось быть слугой сразу двух господ. Есенин делал выбор под стать миллионам современников. Христианское начало почти незаметно вытеснялось у него в поэзии началом языческим, «перетекало» в настоящую религию мирского блаженства. Она, разумеется, имела корни в «народном православии» – исконно русском исповедании веры, которое не отвергло, но подчинило себе, смирило за долгие века иные древнейшие обычаи славянских племен. Деревенские обряды, искусство хранили на себе их печать. Тем не менее это безвредное некогда язычество обрело теперь у Есенина, (как и в жизни русского села) новое дыхание, заслоняя собой подлинный источник любого блага. Привычка обращаться к родным святыням неизменно «говорила» в душе поэта, и с каждым годом, даже месяцем, они все больше «затуманивались» в ней, утрачивали настоящую свою природу.

Одухотворенная красочность его лирики часто напоминала в те времена изобразительный язык русской иконы. Между тем «иконописный стиль» молодого Есенина, подобно творческой манере художника одной с ним поры, К. И. Петрова-Водкина, представлял собой словно перевернутое, исподволь потерявшее (или готовое потерять) единственно возможную для него перспективу древнее возвышенное искусство. Если церковная живопись во все века стремилась воплотить непостижимое, совершенное и вечное, то «новые богомазы», искренне очарованные родной землей, избрали своим предметом осязаемую реальность, которую они, применяя традиционные приемы, отеческую символику, почти молитвенно возводили до степени божества.

Может быть, ярче других такую смену духовного центра в есенинской поэзии ранних лет отразила признанная ее вершина – стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная...». Это восторженное признание в любви было адресовано той стране, которая, верил Есенин, как ни одна другая в мире, запечатлела на себе образ Божий. И он находил для нее лишь его дарованию послушные, таившие в себе одновременно несколько смыслов, богатые, многомерные определения. Когда он говорил: «Хаты – в ризах образа», тут имелось в виду не только солнце крестьянской избы – лики святых угодников, но также очевидное для поэта: изукрашенный резьбой сельский дом – это своего рода земная икона, прообраз вечности. Когда приводил сравнение: «Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля», это можно было прочесть и в самом прямом, явном смысле, а можно было понять и так, что паломник пришел поклониться теплым родным просторам, более того, предположить, что сам он – только временный гость на божественно просветленной земле. Такие смысловые ряды выстраивались постоянно.

Способность «обнимать» считанными словами огромное содержание вела Есенина к непреходящей ценности открытиям. И все-таки художественный образ в каждом из этих случаев, отдавая дань прошлому, устремлялся к новому идеалу, заключал в себе возможность внутреннего перехода, даже разрыва с вековыми ценностями русской жизни. Святыня потому и выглядела здесь настолько яркой, что это был ее «прощальный» свет, напоследок увиденный путником, уходящим от нее вдаль. Заключительные строки есенинского шедевра не оставляли сомнения на этот счет. Сияние Святой Руси в ее земном обличье рисовалось поэту таким безбрежным, что он, кажется, готов был пожертвовать и самой причиной ради открывшегося ему непостижимо прекрасного следствия: Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

Как бы ни расцветивалась «христианскими узорами» эта молодая фантазия, выходило, что жить на свете – значит уже вселиться в райские кущи, вполне соединиться с Богом.

Есенин мог создать на первый взгляд христианскую по духу зарисовку:

Схимник-ветер шагом осторожным

Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту

Язвы красные незримому Христу.

А между тем священное имя выступало в ней прежде всего как метафора, необходимая для более рельефного показа язычески прекрасной земли с ее ветром, листвой, гроздьями рябины – всего, что мощно завладело вниманием художника.

Это не была всего лишь прихоть его поэтического сознания. Говоря о своем Христе: «Он зовет меня в дубровы, Как во царствие небес», Есенин, очевидно, устремлялся в те же духовные леса, что манили тысячи и тысячи современных ему богоискателей. Уподобляя русский пейзаж: солнце, ветер, ели, сосны – входу Господню в Иерусалим («Кто-то в солнечной сермяге На осленке рыжем едет»), поэт выражал единые для многих призрачные ожидания. Готовился вместе со страной петь осанну обольстительному духу природы, духу времени, который под видом Христа все ближе подступал к Новому Иерусалиму – праведной Руси.

Стоя «на туманном берегу» вместе с любимым до боли отечеством, поэт не мог не испытывать «холодной грусти», не мог не страшиться за будущее родины. Тревога и радость, горькие раздумья и предвидение солнечных дней – все это разом возникало из чувства собственного неуклонного участия «в паденье роковом». Летом 1916 года Есенин, призванный в армию и проходивший службу санитаром Царскосельского госпиталя, читал стихи, написанные им по этому случаю, ныне причисленным к лику святых императрице Александре Федоровне и великим князьям. Как всегда у него, художественный образ и тут говорил о многом. Посвященные августейшим сестрам милосердия, эти строки за их простым, очевидным смыслом таили в себе едва ли не пророчество. О святой участи царской семьи, страшных годах России, о недалекой уже мятежной поре в жизни самого поэта: Все ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладет печать на лбу.

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

На исходе февраля 1917 года грянула катастрофа. Веками незыблемая плотина обрушилась под напором все набравших силу

губительных миражей. Падение самодержавия полностью «вынуло» из национальной судьбы ее духовный стержень и опору, опрокинуло в миллионах сердец живые ценности русского мира. События таили в себе целую череду будущих потрясений: по стране разливались войны, убоицы, голод, болезни. Антимир имеет свою логику развития. И все же мало кто сознавал понесенную утрату. Многие россияне ликовали, как дети. Зачарованно ждали прихода лучших времен, поздравляли один другого, говорили о братстве, о любви. Возмущенный разум рисовал картины близкого земного рая, рождал настоящие галлюцинации, где осколки христианского понимания вещей откровенно ставились на службу идеалам новой эпохи. Поэзия Есенина – верный голос народной души – оказалась в эпицентре общего помрачения.

За короткие недели она испытала решительные, бурные перемены. В ней произошел сокрушительный взрыв до времени скрытого языческого начала. Неопределенные упования мирского блаженства получили теперь характер полного, всеобъемлющего заблуждения – утопической мечты, которая пленила дар поэта. Образы его стихов, столь объемные прежде, перешли в одну-единственную и потому кричаще яркую земную плоскость. Послушный головокружительным настроениям, стал заметно иным ритмический рисунок лирики, поэм. Созерцание бытия сменилось прямым соучастием в «перевороте вселенной». Есенин не столько постигал новую Россию, сколько выражал ее страстный, болезненный дух.

Весь первый год революции, когда он, самовольно покинув армию, проживал в Константинове, Петрограде, путешествовал по Русскому Северу, его творческий мир больше и больше вбирал в себя грозное дыхание смуты. «Родине кроткой» здесь попросту не осталось места. Все захватила «буйственная Русь». Лишь иногда, словно очнувшись, поэт замирал в тяжелом недоумении: «Где ты, где ты, отчий дом?..» И снова летел мечтами в желанное будущее страны, больше – целого мироздания. Было страшно, легко и весело, как на огромной, через всю планету несущейся карусели.

Истина всегда едина, нераздельна в ее цветущем богатстве. Она рождает любовь и согласие. Обман, подлог всегда многолик и раздроблен в собственной нищете. Искатели «грешного рая» всех времен блуждали каждый по-своему. Так и в России 1917 года невесть куда устремленные надежды современников сотнями произвели на свет близкие по сути, но вечно враждующие между собой представления о завтрашнем дне. Среди этого хаоса, привнося в него черты своей индивидуальности, метались художники, писатели, поэты. Многим из них казалось тогда, что революция – это прямое продолжение Святой Руси. Иные считали: с наступлением Февраля сам Христос явился в мир, чтобы очистить его бедами и мятежами. Настал, верили они, предреченный Евангелием Страшный Суд и обновление всего сущего.

Есенин тоже думал о конце старого света и рождении другой земли. Но его понятия (иначе и быть не могло!) отличались от тех, что имели Александр Блок, Андрей Белый и другие старшие собратья поэта. Есенинская утопия несла в себе ярко проступившие приметы крестьянского взгляда на происходящее, отражала перелом сознания у самой коренной, наиболее многочисленной части русского мира. Она рядилась в пасхальные цвета народного искусства, использовала вековые образы и поэтические приемы. Со всей увлеченностью молодых сил художник приветствовал близкое уже, грезилось ему, появление в России «дорогого гостя», «чудесного гостя» – именно так, ожидая второго пришествия, веками называла Христа Спасителя отеческая, не сохранившая имен своих создателей духовная поэзия. «Освобожденный» новыми ветрами от его православной природы, образ этот получил у Есенина совершенно иное, антихристианское звучание.

Мало когда еще за свою короткую судьбу Есенин переживал такой силы творческий подъем, как в этот неистовый, грозный год. Из-под его пера, помимо большого числа лирических стихов, одна за другой выходили поэмы: «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», в которых мечта о мужицком рае – земле плодоносящих полей и стад – обрела грандиозный, космический масштаб. Сознание поэта рисовало воочию слияние, «воссоединение» Царства Небесного и дольного мира. Помраченному гению чудилось: изба крестьянина с ее резным коньком на крыше прямо въезжает в райские врата. Ветхий и Новый Завет, русский фольклор, живые впечатления современности – все сливалось в чарующие сны, видения «третьего завета», несущего людям исцеление от скорби, духовной поврежденности, любого зла.

Искренний художник, он всегда шел до конца в собственных прозрениях и ошибках. И по мере того как волна за волной Россию захлестывала смута, Есенин был обречен высказывать со всей прямоотой подлинное существо дорогих ему соблазнов. Так, в начале 1918 года (октябрьский переворот уже полностью расставил точки в намерениях и целях революции) появилась «Инония» – откровенно богоборческая поэма. Молодой «ясновидец» наконец-то признал, что его грезы о сказочном вертограде не имеют ничего общего с духом Православия.

Дни напролет читая Библию, особенно Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), книгу, где с наибольшей полнотой сказано о конце света, он, словно в мистическом трансе, вычитывал из нее лишь то, что сам хотел прочесть. Собственно, так поступал в те годы не он один. Великая духовная держава еще долго не отпускала своих сынов, даже в падении готовых искать оправдание себе и другим на страницах Священного Писания.

Предсказанный в Библии приход на землю посланца сатаны, «человека греха» – антихриста, Есенин перепутал с Божиим Царством, которое наступит в час посрамления наглого беззаконника, его слуг. Последнее время все к тому и шло. И вот «гость чудесный» сбросил личину, предстал как явная демоническая мечта о «новом спасе», о городе и царстве, где он будет править. Инония – это и есть иной град, иная страна. Такое слово придумал для нее поэт. В грохоте и какофонии земного переворота он внезапно ощутил себя пророком. Собственную одержимость принял за праведность. Решил создать новую главу, как полагал, недостающую в Писании. А заодно перечеркнуть будто бы изжитые человечеством евангельские истины. Он силился придать своему голосу апокалипсическую мощь. Он хотел усвоить грозный язык подлинного Откровения.

Вышла дикая пародия: талантливая, как все им написанное, и оттого особенно кощунственная и страшная. С безоглядной лихостью и задором ослепленной русской души Есенин разорял в себе и в мире доставшийся ему от предков Новый Иерусалим, поносил непотребными словами Святую Русь. Нечистый дух и в самом деле водил его рукой, нацеливал внимание на самые высокие ценности бытия. «Не хочу страдания, смирения, сораспятия», – говорил художник далеко не чуждому темным увлечениям эпохи, но все же изумленному гримасами есенинской музыки Александру Блоку. «Ревущие» краски поэмы возглашали радостную, счастливую эру, грешный рай без Христа: Языком вылижу на иконах я

Лики мучеников и святых.

Обещаю вам град Инонию,

Где живет божество живых!

Едва ли «пророк Есенин Сергей» ведал, что творил. В ту пору человек совершенно трезвой жизни, он грезил, как в горячке. Его распаленному воображению предстал «незримый коровий бог», который избавит мир от христианского искупительного пути («Разгвоздят мировое кипение Золотые его рога»), и посланец невиданного зверя – мессия верхом на кобыле. «Надо было слышать его в те годы, – рассказывал современник, – с обезумевшим взглядом, с разметающимся золотом волос, широко размахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он свою замечательную «Инонию». Между тем художник всего лишь честнее многих, в силу его способности во всем доходить до корня, прикасаться к потаенной сути вещей, выговаривал почти повальное отступничество.

Его поэму завершали, в общем, не свойственные есенинской стилистике, произнесенные словно от имени всех вместе взятых россиян гордые, воинственные слова: «Наша вера – в силе. Наша правда – в нас!» «Медиум» Есенин чутко уловил то, что носилось в воздухе. Тут звучала монолитная формула исторического времени. Как бы ни называли себя дети русской революции, какие бы задачи перед собой ни ставили, все они бросили вызов Творцу, повели, говоря словами К. Маркса, одного из давних устроителей вселенского пожара, титанический «штурм небес». Решили утвердить новый мировой порядок. Вознести человека на место Божества. Переменить ни много ни мало источник жизни и света. Последствия не заставили себя долго ждать. Россию накрыли сумерки. Не только ночные (в городах очень скоро погасло электричество), но сумерки духовные, беспросветные ночью и днем. Столь же сумеречным стал после «Инонии» поэтический мир Есенина.

В потемках одному неуютно и страшно. За компанию легче. Да и время голодное, злое заставляло сбиваться тесней. Художественные группы вырастали десятками. Зимой 1918/19 года Есенин и с ним несколько поэтов далеко не первой величины – Анатолией Мариенгоф, Александр Кусиков, Вадим Шершеневич, Иван Грузинов – образовали в Москве, столице Советской России, творческое объединение имажинистов. Название произвели от французского слова image – образ. Вместе держали на Тверской поэтическое кафе «Стоило пегаса», книжную лавку вблизи консерватории, вместе выступали, шумели, печатали скандальные манифесты и декларации. Был случай: размалевали собственными цитатами из тех, что похлеще, стены Страстного монастыря. Потом долго потешали воспоминаниями об этом друг друга и знакомых. Поступки и общая поэтическая платформа расходились незначительно.

Образ лежит в основе всякого творчества. Имажинисты, отделяя себя от современных им художников, писателей, поэтов, имели в виду образ особого рода. Они провозгласили безраздельную власть метафоры, сравнения. Выразительное средство назвали смыслом и целью искусства. Придали ему неподобающее царственное значение. По сути, это означало все то же, в духе времени, возвеличивание гордого человеческого «я», которое творит метафору, стоит за метафорой.

Гениально одаренный мастер, Есенин, конечно, не мог уместиться в рамки новой школы – «художественного ордена», как называли его сами юные вольнодумцы. Невысокий, особенно рядом с тощим и длинным Мариенгофом, он все равно был среди них (не потому ли они так плотно обступили этот источник живой энергии?) подобен великану. Создавать прихотливые «словесные узоры» он стремился не меньше любого из них. Только там, где иные из «буйных зачинателей эпохи российской поэтической независимости» (слова очередного манифеста) видели возможность поразвлечься, для него дело шло о жизни и смерти. Его собратья затевали клоунаду, временами похожую на чудовищный фарс. А он болел стихами, иначе он просто не мог.

И атеист, бывает, воскликнет: «Господи!» За спиной великого художника находилась, хотя и перевернутая до основания, все же тысячелетняя русская культура, священная русская речь. Впрочем, особенных иллюзий это обстоятельство тоже вызывать не могло.

Дар слова – таинственный и обоюдоострый. Истинное значение таланта не в самом таланте, а в том, куда он устремлен. Сердце поэта, сознательно или нет, обращается к Небесам – и в художественном слове оживает вся красота творения, предстают тайны вселенной, блистает сам непостижимый Создатель миров. Так рождаются «божественные глаголы». Сердце поэта тонет в пучине страстей – и слово, сколь бы ярким оно ни казалось, тускнеет, меркнет. От него отлетает дух вечности. Обладателю дара оказывается нечего петь, кроме собственной падшей природы, сопричастной грехам человечества. Есенин выбрал этот последний путь. И русский язык его поэм, стихотворений почти утратил свою святую. Отныне в нем звенела, хрипела, визжала, в нем ликовала и грустила поверженная душа.

Мир чувственный, звериный переполнил собой его лирику, большие и малые поэмы революционных лет. Вещественными, «телесными» стали их метафоры, олицетворения. Потребность любви, неистребимая в людях, утратила связь со своим источником. Она поневоле искала теперь выхода в теплой привязанности ко всему, что плодится и множится. Художник ощутил глубокое родство с беспокойным океаном «разумной плоти». Сделался чутким до надрыва к ее радостям и страданиям. То желал обернуться деревом. То погружался в переживания суки, у которой утопили щенят («Песнь о собаке»), и готов был кричать всему свету о неподдельном собачьем горе. Так часто бывает, когда человек, не важно, почтенный с виду гражданин или явный уголовник, попирает в себе образ Божий. Он уже не сочувствует всякой твари, он становится с ней заодно.

Животные, деревья, травы не ведают о нравственных нормах. Они послушны инстинктам и чутью. Стоит людям возомнить, что они – только часть «естественного» мира, хотя бы и высокоорганизованная, как неизбежно возникает желание выйти из привычных, «необязательных» рамок бытия.

Революция сметала их одну за другой. Главным лицом эпохи оказался хулиган, охальник, нарушитель спокойствия. Нисхождение «в душу природы» соответственно изменило и характер поэтического героя Есенина. Теперь это был хулиган: вызывающе бурный, правда готовый, скорее, по-братски обнять все сущее под солнцем, чем расположенный к ненависти. Русская отзывчивость и тут не изменяла Есенину. Его «хулиганство» всегда несло в себе словно искру лукавой насмешки художника над собой. А все-таки хулиган есть хулиган. Это слово ирландского происхождения традиционно читалось по-русски как «беззаконник», «творящий бесчинство». Оно стало неотрывным от понятия «хула». Отечественная литература и привидеться раньше не могли смелые признания, которые делал не моргнув глазом лирический «двойник» поэта: «Только сам я разбойник и хам И по крови степной конокрад».

Чувство живой, трепетной плоти неизменно сливалось у Есенина той эпохи с чувством родины, деревянной Руси. Между тем русская сентиментальность, русское буйство (направляемые чуткими организаторами смуты) принесли в мир плоды, поистине вызывающие дрожь. Уже летом 1917 года, когда поэт начинал созидать свой «крестьянский апокалипсис», по стране потекли первые реки крови. С 1918 по 1922 год Россия захлебнулась в ней. Нельзя сказать, что Есенин закрывал глаза на происходящее. Другое дело, в ложном свете его «пророческих видений» даже самые жуткие события долго представлялись «родовыми муками» будущего рая. Вот-вот, казалось, красный конь – воплощенная мужицкая мечта, – играя в оглоблях, понесет землю навстречу этому раю. Где-то на рубеже 1919–1920 годов художник с ужасом понял: желаемое блаженство так никогда и не начнется.

Деревня умирала. Ее разорили, свели под корень война, моровые поветрия, бандитизм, продовольственные отряды, выгребавшие хлеб до последнего зернышка. Можно ли перечислить все беды, что поразили заблудшую русскую землю? Поэт не хотел, не мог верить, что эти сродни кошмару, но вполне реальные явления суть порождение и развитие одного, им же испытанного, соблазна. Он переживал внезапно увиденную катастрофу все еще из глубин своего утопического мироощущения, воспринимал ее в плоскости чисто горизонтальной. При этом он оставался верным сыном по-прежнему самой дорогой для него среды. Не борьба человека с Богом, а битва железного города и соломенного, теплого села казалась ему причиной грянувшей беды. Городская диктатура «кожаных курток», видел Есенин, истребляет почву, на которой впервые пробилась его языческая мечта, убивает, калечит живое, плотское существо этой мечты.

«Хулиганские выходки» в этом свете получали новую окраску, выглядели последним отпором, отчаянной попыткой защитить то, что было обречено. «Нежный хулиган», высоко вскинув «золотую голову», начинал неравный спор с хулителями жестокими, беспощадными.

Тема роковой схватки непримиримых противников прозвучала у Есенина на пределе человеческих возможностей. «Я последний поэт деревни...», «Песнь о хлебе», «Мир таинственный, мир мой древний...» («Волчья гибель») – те стихи, где поэт прощался с дорогими ему обителями, кажется, навсегда. Он воспевал «последний, смертельный прыжок» затравленного волка, он сокрушенно «выплескивал» свою горечь и тоску. В 1920 году появилась маленькая поэма «Сорокоуст» (Православная Церковь называет так ежедневный, в течение сорока дней, молебен за здоровье или поминание за упокой) – настоящий плач по уходящему в небытие русскому селу.

Понятно, что это был такой же сорокоуст, как «Исповедь хулигана», написанная с ним почти одновременно, – христианская исповедь. Вместо священного трепета – гордость, вместо смиренного обращения к Богу – дерзкие слова, брошенные «в чужой и хохочущий

сбород»... Тем более обжигающим, безысходным оказался пафос еще одной «нераскаянной» поэмы.

Ее центральная картина, собравшая воедино все лучи произведения – бег жеребенка в отчаянной попытке обогнать паровоз, – высвечивала ни много ни мало колоссальную драму на просторах России. Вспышкой, которая зажгла поэтический образ, в этом случае явилась подлинная сцена, увиденная из окна поезда, когда поэт вместе с группой имажинистов ехал в том же году на Кавказ. И ему представились вмиг вымирающая деревня, и «лик Махно» – вождя крестьянского движения на Украине (он сам говорил об этом), и, вероятно, близкая тому, во что верили махновцы, его собственная мечта побежденными, как этот маленький жеребенок. «Конь стальной победил коня живого», – горько признавал Есенин.

Трагический смысл посвященной «празднику отчаянных гонок» небольшой главки поэмы оказался гораздо шире. Не исчерпывали его и пристрастные понятия художника. Отдавал он себе в том отчет или нет, он увидел до ужаса рельефно столкновение «в полях бессиянных» двух граней одного соблазна: «избяной» и железной. Поезд и «красногривый жеребенок» неслись в одном направлении, к одной цели. Но «красный конь» уже исполнил свое дело. Надобность в нем теперь отпала. Мировой подлог двигался дальше, набирал бешеное ускорение. В недрах разделившейся утопии кипела смертельная борьба. Одна сторона терпела крушение, другая спешила извлечь из ее гибели осязаемую пользу. Просто пускала под нож, обращала в «тысячи пудов конской кожи и мяса». Вот и все. И не было в поэме, как не было в России (почти не было), правых. Только «хула» – торжествующая или побежденная. Разве не отсюда выростала гнетущая скорбь есенинского «Сорокоуста»?

Братоубийственная война – «черная жуть» – разрывала русскую землю на части. Сыновья одной родины, проявляя чудеса героизма, резали друг друга, не зная пощады. Красные, белые, зеленые, Махно, Антонов (несть конца именам и краскам!) были между тем частными проявлениями некой более общей силы, уходящей корнями в историю смут на Руси. Может быть, наиболее внятно для современников среди возможных ее определений звучало памятное с XVIII века слово «пугачевщина». Большая драматическая поэма, над которой Есенин работал в 1921 году, так и называлась – «Пугачев».

Ошеломляющий, страстный накал выделял это произведение даже среди других «раскаленных» его созданий той эпохи. Всегда великолепно читавший на публике свои стихи, может быть и в этом отношении первый среди современных ему мастеров слова, он показывал знакомым рубцы на руках: «Когда читаю «Пугачева», так сжимаю кулаки, что изранил ладони до крови». «Революционная вещь», какой он задумал новую поэму, не могла иметь иного звучания. Есенин добился в ней редкой завершенности, безупречно свел все частные элементы к единому духовному центру. Это глубинное ядро дышало испепеляющим жаром революции. В определенном смысле сама русская революция заговорила тут «на разные голоса» о собственной сути, путях движения. И подошла, подвела художника на самый край зияющего впереди обрыва. Сообщила подноготную правду о себе. Заставила делать неутешительные выводы.

Пугачевщина во все времена означала одно: обман, подмену, самозванство перед Богом и людьми. Исторический вождь крестьянской войны не даром именовал себя императором Петром III. Еще всецело поглощенный своими языческими грезами, Есенин написал однажды явно «выпадающие из действительности» неожиданные строки: «Душа грустит о небесах. Она нездешних нив жилица». Художественный мир новой поэмы от начала до конца принадлежал иной, перевернутой духовности. Человек на ее страницах весь «прилепился» к земле. Соответственно тут не было солнца. Действие происходило во тьме: то звенящей, холодной, а то первобытно-теплой. Лишь иногда сцена освещалась отраженным светом луны. И поэтический язык Есенина, ни с чем не сравнимый язык «Пугачева», до предела насыщенный сложными, почти невероятными метафорами (поэма, безусловно, венец имажинизма), был как заново изобретенная речь потонувшей в «сумерках плоти» человеческой души.

Безграничный разлив животного начала в мире – этого хотел и добился есенинский Пугачев. Товарищи героя по разбойной судьбе: Зарубин, Караваев, Торнов (это все подлинные имена – поэт изучал материалы о Пугачевском восстании), каждый по-своему «расцветивали» общую для них «звериную правду». С появлением беглого каторжника Хлопуши она получала характер судорожного экстаза, в котором слышались волчье завывание, волчий устрашающий рык. А впереди брезжил зарей восход, наступление мужицкого счастья и воли.

Перелом в развитии поэмы происходил внезапно – стоило ее героям, разбитым наголову, испытать прямую угрозу собственному существованию. Животный ужас, паника пронизывали надсадный крик бунтовщика Бурнова, никак не желающего терять надежду: Яблоневым цветом брызжется душа моя белая,

В синее пламя ветер глаза раздул.

Ради Бога, научите меня,

Научите меня, и я что угодно сделаю,

Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человеческом саду!

Мечта не сбылась. Рай на земле предполагал вечное цветение, вечную силу и славу телесного бытия. Но человек, его земная плоть, но природа, ее зеленое буйство – они рано или поздно должны умереть. Люди не в силах перейти положенный им предел. И бунтовщики, не ведавшие ничего иного, кроме этой жизни, этого мира, выдавали самозванца властям. Пугачев видел воочию, что неизбежная осень, неизбежная смерть «подкупила» его сообщников, готовых любой ценой сохранить то, что и составило движущую силу бунта, – свою плоть, свой живот. Он становился жертвою им самим посеянной бури. Последний монолог поверженного героя содержал поистине страшное открытие: Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?

А казалось... казалось еще вчера...

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Вот так же развеялись в дым некогда радужные настроения художника. Тема утраченной молодости, «сгибшей надежды» уже никогда не покидала его. Словно опережая многое из написанного Есениным позже, в год создания «революционной исповеди» – «Пугачева», появилось богатое и строгое «Не жалею, не зову, не плачу» с его печальными, простыми словами: «Все мы, все мы в этом мире тленны». Истиной, нелегко давшейся поэту.

Крушение мечты, которой отдал себя по-русски весь, без остатка, честное признание того, что «красный конь» изначально обречен, было для Есенина равнозначно жизненному концу. Потерянность и пустота, предсмертное томление сердца – вот что осталось от бывшего ликования. Именно в ту пору он заболел роковой страстью к вину. Она то слабела потом, то вспыхивала опять, но уже не отпускала его по-настоящему.

Самый тягостный период своей судьбы, когда узнавались одно за другим страшные последствия былой ошибки, Есенин провел за границей. До этого женатый два раза, он путешествовал теперь по Европе и Северной Америке вместе с новой женой, как сам он, скандально известной, «женщиной сорока с лишним лет», американской танцовщицей Айседорой Дункан. За время поездки, с мая 1922 по август 1923 года, были написаны несколько стихотворений, возникла первоначальная версия поэмы «Черный человек», продолжалась еще в Москве задуманная драматическая поэма «Страна негодяев» – одно из наиболее глубоких его созданий. Отныне поэт «не строил себе никакого чучела», прямо смотрел действительности в глаза. Видел свою жизнь, видел Россию такими, какими они стали в результате прошедших лет. Содрогался, не ведая обратного пути. Но и поблажек никому не делал. Прежде всего себе самому.

На страницах «Москвы кабацкой», поэтического цикла зарубежной эпохи (позднее он вошел в одноименную книгу стихов), было не узнать прежде задиристого хулигана. Он проходил, «головою свесясь», подавленный, растерянный. Почему? Этот повеса, по его собственным понятиям, не имел в прошлом ничего настолько ужасного, чтобы теперь «хоронить себя» («Не злодей я и не грабил лесом, Не расстреливал несчастных по темницам»). Он любил и жалел все живое. Тем не менее он не заблуждался на свой счет. Что отъявленный душегуб, что «московский озорной гуляка» – их ожидала сходная участь. Сказанное в кругу бандитов и проституток: «Я такой же, как вы, пропащий», звучало не только пьяной бравадой. Тут говорило позднее прозрение.

Поэт прикоснулся к темным тайникам вселенской утопии. У нее было множество имен: мужицкий рай, эдем, Интернационал. Только цель во все века оставалась одной и той же: завладеть человеком навсегда, предать живую душу адскому огню. Для того и нужно было мировое обладание. Возделенная некогда Инония предстала как она есть. Есенин различил наконец жуткую подоплеку своего «чудесного гостя». Истинное лицо хорошего знакомого оказалось невыносимо пугающим.

Черный человек, «прескверный гость», посетил его художественный мир. Он явился герою одноименной поэмы прочитать «мерзкую книгу» его постыдных деяний, отнять у него малейшую надежду на спасение. Незванный ночной пришелец выворачивал перед окаянными грешником всю демоническую, им же вдохновленную, сторону его жизни. А разве что-нибудь, кроме нее, осталось? Глумясь над жертвой, он вспоминал о каком-то мальчике, «желтоволосом, с голубыми глазами», дразнил ее такой возможной вначале, но потерянной навсегда праведной дорогой. Брошенная в него трость не приносила герою освобождения. Разбивала зеркало, и только. Потому что черный человек был его вторым «я», говорил прямо из сердца, предвкушая над ним вечную власть.

Не желавший «страдания, смирения, сораспятия», Есенин мог теперь убедиться воочию, куда ведет человека безумное поклонение собственным силам. Не он один усваивал горькие уроки. Его стихотворения, поэмы заключали в себе огромное общенациональное значение. В них тосковала больная русская совесть. Новые стихи (а впрочем, так случалось постоянно, что бы он ни написал), равно волновали, равно терзали всех, кто еще не умер душой до конца, – и победившего красноармейца, и выброшенного за пределы России белого эмигранта где-нибудь в Берлине. Поэт затрагивал такие пласты, рядом с которыми выглядели ничтожно малыми любые политические разногласия: Что-то всеми навек утрачено.

Май мой синий! Июнь голубой!

Не с того ль так чадит мертвячиной

Над пропащею этой гутьбой.

Была развеселая «буйственная Русь», а на поверку вышло – «страна негодяев». Теперь вот они «пьют, дерутся и плачут». Заглянули «роковому» в лицо. Поняли, хотя бы смутно, что сотворили над родиной и над собой, какое сокровище отвергли, отдали врагу. И поправить ничего не могут. Оттого и «жарят спирт» в кабаках парижских ли, московских. Ищут и не могут найти забвения. Даже тот, кто не делает ничего подобного, разве не принадлежит и он безобразному русскому кабаку? Народная Россия былых веков («озорные» частушки не в счет) знать не знала «блатных» песен. Их считала своими разве что узкоограниченная, всеми осуждаемая среда. Начиная с революционного времени на десятилетия вперед они стали говорить о чем-то очень существенном сразу многим. Художник только умел во всю мощь данного ему голоса, возвышаясь над этим морем павшего фольклора, пропеть единую вину, единую боль: сжигающую, неотступную.

А все-таки на доньшке разбитой в кровь души у него, подобно миллионам соотечественников, не угасла еще в далеком детстве затепленная лампадка. Без нее и черного человека было бы в себе не разглядеть. Он так и остался бы на всю жизнь гостем дорогим, желанным. Вернуться к теплой вере отцов после всего, что случилось, в окружении всего, что есть, казалось, увы, невозможным. Но, единственное утешение грешников, она все равно звала к себе. Не по старой памяти, не ошибкой приходило Есенину, как, наверное, многим еще в то глухое время, главное и последнее, целой жизнью выстраданное пожелание: Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

Долгие шесть лет, пока Есенин возводил свой поэтический рай, а потом переживал его уничтожение, Россия шла дорогой Христа, восходила на Голгофу.

Год 1922-й по всем приметам стал годом торжествующей смерти. Миллионы убитых, выкошенных голодом, болезнями. Разоренное в прах городское и сельское хозяйство. Тысячи бездомных сирот. Полная душевная контузия, часто озверение и одичание тех, кто уцелел. Железная утопия, логический финал былого прекраснотворения, казалось, покорила себе все и вся. Завладела телом и душой могучего некогда народа. Посеяла ядовитые семена в юных сердцах. Раскинула по стране сатанинскую сеть ВЧК – ОГПУ, чуткую к любым колебаниям почвы, готовую карать малейшее отступление от жестоких «правил игры».

Но великая тайна русской истории продолжала сбываться. Россия словно в самой гибели своей находила силы для возрождения. Пребывающий в народной душе источник света не был затоптан и предан забвению. Страдания невинных мучеников, страдания «малого стада», которое осталось до последнего дыхания верным Христу, принесли политые кровавыми слезами целебные плоды. Мрачные 20-е годы стали эпохой, где забрезжил робкий луч надежды.

События такого, не меньшего, масштаба отзывались в есенинском «умирании» тех лет. И, во всем созвучная жизни страны и народа, его поэзия тоже заключала в себе огромную силу очищающего страдания – залог недалекого уже творческого поворота. Художник вовсе не утратил изначальную способность открывать в родном русском мире, искалеченном, обезображенном, вечные, неувядающие истины.

Увиденное за рубежом только сильнее убедило Есенина, что судьба России есть по-прежнему особая, горестная и светлая судьба. «Родные мои! Хорошие! – писал он знакомым из Германии. – Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать – самое высшее мюзик-холл. <...> Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину». Впрочем, поэт не только увидел «закат Европы», не только высмеял, в духе Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, гоголевские нравы американцев. Зоркий наблюдатель, он заметил: по ту сторону океана «растет что-то грандиозное», тем более зловеще в нечеловеческой его пустоте.

Возвращение на родину летом 1923 года стало для него не просто прибытием домой из дальних стран. То было – в ином качестве, в иную эпоху – возвращение на круги своя. Ожог минувших лет, жестокая реальность сегодняшнего дня, конечно, давали знать о себе. И все же творчество Есенина испытало, казалось, почти невозможную смену «фокуса». Его поэзия, обогащенная зрелым мастерством признанного художника, опытом пережитых ошибок и скорбей, возвращалась к своим истокам.

Он вернулся в Россию другим. Об этом говорили уже стихотворения поэтического цикла «Любовь хулигана» (всего их было семь), написанные осенью по приезду. Поводом для их создания стало неожиданно «тихое» знакомство Есенина с актрисой Августой Миклашевской. Может, все обстояло как раз наоборот и это сама поэзия, нечто огромное, что пробуждалось в ней, вызвала наяву недолгие встречи в золотой осенней Москве? Может быть, поэт хотел наделить реальную женщину чертами заново обретенного творческого идеала? Как бы то ни было, эти отношения мало походили на те, что возникали у него в минувшие, а то и в будущие годы. Иными оказались и рожденные под их светом проникновенно теплые или сумрачно безнадежные, всегда таинственные стихи.

До этого, если не считать отдельные произведения юношеских лет, Есенин почти не писал любовной лирики. Теперь удивляло не столько погружение его поэзии в неизведанную ранее область, сколько ее кроткая, едва ли не смиренная интонация. Не прошло и года с той поры, когда он, словно задыхаясь в чаду, выкрикивал: «Я не знал, что любовь – зараза, Я не знал, что любовь – чума». И вот прояснилось – то вовсе не о любви было сказано. Герой очнулся. Ничего другого он так не желал отныне, как мира, понимания, тишины. Он прощался с былым хулиганством. Станным было его чувство: невоплощенное, оно осталось жить, растопило, смягчило сердце. Иначе и быть не могло. Тут заговорила единственно сущая любовь: неземная, вечная. Та, что ищет и находит присутствие Творца во всем мироздании. Она проснулась в душе, еще загроможденной обломками катастрофы, лишь едва выходящей из потемок. То ясно светила, а то пропадала из виду. Но забыться уже не могла. «В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить» – это звучало как твердо сделанный выбор.

Вполне очевидно: намеченный новыми стихами духовный поворот не только принес поэту радость исцеления, вернул ему «прозрений дивных свет», но и грозил бедою. Внутреннее обновление художника протекало в обстановке победившей утопии. Она-то уж никого не выпускала из поля зрения, стремилась «поставить под ружье» любой мало-мальски значимый талант. Революционный поэт Есенин с определенными оговорками был для нее своим. Теперь, когда «прескверный гость» явно терял свою власть над сокровенными ключами его поэзии, верные слуги этого гостя забеспокоились.

Художник скоро испытал хорошо подготовленный натиск по нескольким направлениям сразу. Его настойчиво пытались направить «в нужное русло». С другой стороны, вызывали на пьяные скандалы (некоторые из них, как сегодня установлено, были искусно спровоцированы) и привлекали затем к судебной ответственности. В течение полугода, с ноября 1923 по апрель 1924 года, против него возбуждали пять уголовных дел. То и другое отзывалось кампанией травли в печати с незатихающими обвинениями в мелкобуржуазном, кулацком уклоне, упадочничестве и национализме. К этому добавлялась почти фатальная бытовая неустроенность в перенаселенной Москве тех лет: без комнаты, даже собственного угла, Есенин так и скитался по знакомым.

Нет сомнения, он искренне хотел найти в наступившей действительности только ему подобающее место, по-своему вписаться в эту пришедшую основательно и надолго «красную новь». Собственно, похожую задачу решал каждый подлинный художник той эпохи. Как любое смутное время на Руси, она была мучительной, но неоднозначной. Продолжали издаваться новые книги поэта. Далеко не все критические отзывы о нем дышали огульной бранью. Он выстрадал, с новой силой понял за границей необходимость при любых обстоятельствах быть вместе со своим народом. Ощутил, что он и Россия до последнего дыхания – одно. И поскольку народная судьба оставалась предельно запутанной, ничто не обещало ему легкого пути.

Хотя вся его зрелая жизнь, за исключением часов уединенного труда, прошла на людях (отчего и возникал недоуменный вопрос: «Когда же ты работаешь?» – с ответом на него: «Всегда»), Есенин умел хранить от посторонних и даже близких самые сокровенные тайны своей души. Они отсвечивали в каждом его создании, но не раскрывались до конца: творчество гения – всегда загадка. В последние годы поэт слишком хорошо узнал, чего может стоить обычная неосторожность.

Среди всего сказанного им о себе в это время нелегко разделить искреннее и должное. «Я вовсе не религиозный человек и не мистик», – сообщал он в одном из вариантов автобиографии. Внешний свой атеизм, конечно не впадая в былое шумное богоборчество, он не уставал подчеркивать письменно и устно. Скорее всего, он так и думал. Было бы, вероятно, ошибкой допускать возможность его церковного покаяния. Дорога к Церкви, особенно для тех, кто находился на виду, оказалась почти закрытой. Для веры требовалось жертвовать всем, готовиться на земле к худшим испытаниям. Но потребность святыни, ее взыскание наедине с собой у художника оставались, по-видимому, очень сильны. Внутреннее движение, начатое стихами «об уходящем хулиганстве», неизбежно вело Есенина дальше и дальше к возрождению в поэзии подлинно отеческих начал.

Волшебным образом изменилось его отношение к слову. «Прежде всего, – говорил он теперь, – я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить». На самом деле он менее всего занят был самовыражением. Русская речь вновь открылась ему как бездонная кладовая смыслов, народного чувства, народного опыта, как самая точная мера хорошего и дурного. Он творил в полном согласии с ней, владея, как никто вокруг, этим совершенным средством познания мира и собственной судьбы. Имажинистские увлечения отпали сами собой. И одновременно в его поэзии ожил высокий строй отечественной словесности. Художник и не скрывал своего тяготения к Пушкину. Его реалистическая поэзия стала продолжением традиции, неповторимым голосом той литературы, где являло себя на протяжении веков православное, по сути,

миросозерцание. В ней засияли вновь «божественные глаголы».

Этот новый творческий дух по-своему определил ту позицию, которую вольно или невольно Есенин, «самый яростный попутчик», пытался занять по отношению к сегодняшней России. Живое слово неизмеримо больше текущего дня, его поспешных требований и запросов. Поэт умел, как прежде, охватить звучанием лиры весь национальный мир. Только отныне это был уже зрелый художник, хорошо знающий свою силу. Он стал поразительно умен в лучших его созданиях той поры. Ясная «пушкинская» мудрость осенила его стихи. Он не оспаривал наступившую реальность, он принимал ее такой, какая она есть, оставаясь при этом самим собой, перенося впечатления современности в колоссальное пространство данного ему слова, разгадывая все увиденное сокровенными оттенками языка. Но эта песня раздавалась на земле, которая по всем ею утверждаемым формам бытия оказалась глубоко чуждой собственной поэтической речи. Так возникал неизбежный разлад между стремлением художника «выявить органическое» – высокое, нетленное – и вопиюще неорганичным, безблагодатным ходом жизни вокруг него. Главное противоречие его последних лет.

Оно дало о себе знать, может быть, наиболее зримо в поздних отношениях поэта с некогда воспитавшей его средой: русским деревенским миром. Впервые тема глубокой пропасти, которая Бог весть когда пролегла между ними, наметилась в маленькой поэме «Возвращение на родину». По-настоящему эпическую силу она обрела в написанном тогда же, летом 1924 года, позднем есенинском шедевре, тоже маленькой поэме, «Русь Советская»: Ах, родина! Какой я стал смешной.

На щеки впалые летит сухой румянец.

Язык сограждан стал мне как чужой,

В своей стране я словно иностранец.

Откуда, почему появилось чувство своей ненужности, отчужденности? Тут можно было вспомнить есенинские путешествия, когда он, говоря его же словами, «по планете бегал до упаду», его привязанность к новой городской жизни, «богемное» прошлое. Наконец, то, что он, человек творческой профессии, представлял собой нечто странное, малопонятное для большинства земляков. Но в поэме о простых вещах едва ли не за каждой из них таились новые горизонты. Издавна присущая художнику объемность образов достигла своей вершины. Одно определение с полной свободой обнимало тут несколько понятий: элементарное и сложное одновременно.

Родные обитатели Есенина пережили настоящий ураган, приняли «иную жизнь», «другой напев». Он испытывал не только понятную печаль от необратимых с годами перемен. Уже немногим более ранние его стихи, где было описано возвращение в «милый край» – это «Вновь я посетил...» двадцатого столетия, – запечатлели подлинный поворот земной оси. Каланча вместо колокольни («На церкви комиссар снял крест»), календарный Ленин вместо икон на стене, «племя младое, незнакомое» («Сестры стали комсомолки»), готовое перечеркнуть и забыть все, что соединяло его с бабушками и дедами. Странник из новой поэмы тоже грустил не об одном лишь собственном «увядании». Оглядываясь по сторонам, он нигде не находил свою Россию: «И там, где был когда-то отчий дом, Теперь лежит зола да слой дорожной пыли». Это, конечно, имело отношение к большому пожару 1922 года: тогда в Константинове сгорела изба родителей поэта. Но разве отчий дом для человека – только его изба, только дедовский угол?

Нет, Есенин был далек от осуждения новой русской деревни. Он хотел ее понять, сделать своей как реальность родной страны. Смешно думать, что он, русский гений, в чем-нибудь уподоблялся диссиденту. Но «самое необходимое слово» все равно вело художника к невольному, нежеланному отторжению того, что он наблюдал.

«Цветите, юные! И здоровейте телом!» – приветствовал он вступающее в жизнь поколение. И слышалась тут затаенная боль. Потому что здороветь душой под распеваемые «агитки Бедного Демьяна» (ударение пришлось как раз на это последнее: «телом») очень трудно, почти невозможно. «Готов идти по выбитым следам», – говорил он. И нельзя было увидеть здесь ничего иного, кроме твердой решимости следовать горькому жребию. Самое же главное, сокровенное признание следовало прямо в начале поэмы: «Я вновь вернулся в край осиротелый». Очевидно, что речь шла о жертвах революционного урагана. И все же за этим, таким понятным значением стояла еще одна громадная, последняя истина. Россия, позабывшая в мечтах о земном блаженстве, что она – Святая Русь, отвергнувшая Небесного Отца и своего отца земного, – это и есть край осиротелый. Точнее не скажешь. На многие годы вперед.

Поэтическое чувство безошибочно говорило художнику, что не столько он отрекся от «малой родины», сколько она сама вместе с большой страной отеклась от себя. А впрочем, разве не было в том и есенинского участия? Только теперь его талант «сбил с торной дороги». Поэт Есенин принадлежал иной родине. «Пилигрим с далекой стороны», «иностранец» – это ведь о ней, не только о Европе с Америкой, – о своей приверженности до конца тому, что, кажется, подрублено под корень и больше никогда не воскреснет. Вот почему на смену спокойно-грустной интонации приходили в конце поэмы торжественные, патетические строки: Но и тогда,

Когда во всей планете

Пройдет вражда племен,

Исчезнет ложь и грусть, —

Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь».

Тут не было места отчаянию, безысходности. Эти стихи одним своим появлением утверждали: Русь жива. Советская — это лишь эпоха в жизни великого, духовно неиссякаемого народа, его городов, сел и деревень, на которые по-прежнему проливается неразумно отвергаемый свет. Не III Интернационал, но Третий Рим — его суть, его судьба. Пройдет полтора десятка лет, и на самой страшной войне вчерашние юноши кровью своей засвидетельствуют эту правду. Написанная в один из наиболее темных периодов национального самозабвения, есенинская поэма стала подвигом, совершенным для всех времен.

Живой человек, он, конечно, спорил с самим собой. Эту разговаривающую внутреннюю полемику полнее других его произведений отразила еще одна маленькая поэма: «Русь уходящая». Есенин сомневался, даже раскаивался в непонятной, «ненужной» привязанности к дедовскому прошлому. Казалось, так очевидно, что «бывшие» люди, «бывшие» песни обречены. Они должны сгнить «несжатой рожью на корню», расчистить дорогу «сознательной» юности, шагающей в общечеловеческое «далеко». Ему представлялось, что он сам «очутился в узком промежутке» между старым и новым. Он то жалел, что не увидел светлое будущее «в борьбе других», то с горькой усмешкой высказывал желание «задрать штаны, бежать за комсомолом». И пропускал через сердце потрясающий страну жестокий раскол. Переживал великую драму строительства земного рая. И пел именно то, что и могла она сообщить его душе: невыносимую грусть, смертельную «грусть в кипении веселом».

Стремление идти в ногу со «стальной ратью» долго не покидало его. Оно читалось во многом, что он тогда написал. Всмотриваясь в перевернутый русский мир, Есенин различал определенно: есть большевики и большевики. В поэме «Страна негодяев» эти разные лица большевизма представляли ее персонажи — Чекистов и Рассветов. Первый из них откровенно ненавидел и презирал Россию. Второй на свой манер мечтал о ее восстановлении и процветании. Подобный расклад во многом отражал ситуацию того времени в партийной верхушке (многих руководителей государства Есенин так или иначе знал лично). Едва ли поэт особенно обольщался насчет тех, кто стоял за образом Рассветова. Это были тоже преступные люди. Но где было найти неповинных после такой бури, в такой стране? И он пытался внять их заботам, даже перестроить себя под их мерку. Может быть, в жизни, полной невзгод, он искал среди них покровителей. После «чего-то грандиозного», подмеченного им в Америке, художник понимал: их промышленные хлопоты, желание отстроить «стальную Русь» — это в числе прочего еще и ответ на исторический вызов. А все-таки воспевание «индустриальной мощи» оказалось не вполне для него органичным. Когда же речь касалась «библии марксизма» — «Капитала» (тема эта настойчиво проходила через его стихи), залеченная, казалось, рана открывалась опять и опять.

Каждым новым творением поэта его талант определенно доказывал, что он неподвластен «законам классовой борьбы», что вся его природа — иная. Долгие месяцы 1924–1925 годов Есенин провел на Кавказе. Зимой, находясь в Батуме, он работал особенно много. В этот период возникли его поэтические послания (письма в стихах), новые лирические стихотворения. Но самым значительным свершением стала большая, «лиро-эпическая», по определению самого художника, поэма о русской смуте и о любви — «Анна Снегина».

Несмотря на то что Есенин обращался в ней к событиям самого первого года революции в деревне, бросал ретроспективный взгляд на все, что происходило со страной потом, это не была революционная поэма. Ее страниц не коснулось ни радостное ликование былых космологических видений, ни бешеный разгул, который слышался в каждой строке «Пугачева». Поэт словно перенес нынешнего себя в то далекое тревожное время. Он не становился в описанных событиях на чью-нибудь сторону, не творил себе никаких кумиров, но и не осуждал кого бы то ни было.

Герой поэмы, «первый в стране дезертир», наблюдал со стороны, лишь едва до нее касаясь, «пугачевщину» XX века: шумные сходки, мужицкие войны — «селом на село» при возникающем переделе земли. Были тут и свой мятежный «заводчик», душегуб и каторжник Прон Оглоблин (чем не Хлопуша волостного масштаба?), и его брат — подловатый и трусоватый Лабутя, и бунтующие крестьяне, послушные их вождю. Люди, вовсе не чуждые герою, но в то же время существующие где-то в стороне, не затронувшие глубоко своими страстями его собственную душу. Художник не испытывал больше иллюзий, хорошо различал безрадостные последствия, которые несет его участникам русский бунт: Эх, удаль!

Цветение в даях!

Недаром чумазый сброд

Играл по дворам на роялях

Коровам тамбовский фокстрот.

За хлеб, за овес, за картошку

Мужик залучил граммофон, —

Слюнявя козлиную ножку,

Танго себе слушает он.

Эпический мир «Анны Снегиной» выглядел томительно-грустным, почти безнадежным. Поэма и осталась бы такой, не окажись в ее художественном строе другого, спасительного начала. Самое главное, о чем говорил тут Есенин, собственно, и заключалось не в этих описаниях раскола, но в изобразении внутренней жизни героя, его любви, всего, что ее разбудило, наполнило и заставило прозвучать.

История отношений приехавшего навестить родное село «знаменитого поэта» и его соседки-помещицы неуловимо напоминала прежнюю «любовь хулигана» из более раннего поэтического цикла. Тут была важна не та мимолетная вспышка страсти, о которой Есенин предпочитал говорить отточием в тексте поэмы, а нечто иное, что навеки соединило сердца двоих, — любовь, которая не сбылась и, пожалуй, не могла сбыться в мятежной России, а все-таки, едва замеченная, прошла с героями через всю смуту. Над ней оказались не властны ни мировые потрясения, ни протянувшиеся между ними границы. Они стали один другому — «как родина и как весна». Привязанность героя к милой с детства земле, ее людям, ее прошлому — все собралось в этом чувстве. Любовь к женщине, земные переживания вместили в себя голос вечности.

«Анна Снегина» — итоговая поэма. В ней часто возникала переключка с далекими, самыми ранними есенинскими образами. И уже навсегда в ней ожила, утвердилась Божественная любовь. Лирическое начало произведения словно стремилось исцелить собой то гнетущее, страшное, что несло начало эпическое, вдохнуть забытую истину в это угрюмое, испепеленное ненавистью пространство. Здесь не было «Руси уходящей» или «Руси приходящей», но говорила, жила подспудно единая возвышенная Русь. Не случайно, хотя и всего однажды, появились в поэме старые, простые слова: «родина кроткая». В них заключался, как прежде, великий смысл.

Последняя пора жизни Есенина стала временем подлинного расцвета его лирического дарования. В течение 1924–1925 годов появились многие десятки «малых» шедевров. И почти на каждом из них лежал отсвет вечной правды. Не осталось и следа вызывающей страстности революционной эпохи. Ей на смену пришло подчас печальное, но все же по-настоящему глубокое умиротворение. Сентиментальная жалость уступила место высокому и чистому милосердию. Именно тогда были созданы самые прославленные стихотворения поэта, которые русский народ всегда безошибочным в таких случаях чутьем признал своими народными песнями: «Письмо матери», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». Обретение себя, возвращение к живым светоносным истокам означало теперь уже раз навсегда состоявшуюся встречу поэта с его родными обителями. В суровой, выхолощенной повседневности о подобной встрече нечего было и мечтать: на дворе был нэп (новая экономическая политика). Не одни коммунисты и комсомольцы — безбожные собственники заправляли теперь на селе. Но в области сокровенной эта встреча происходила необходимо и неизбежно. Вековая народная нравственность, особый склад национального характера («нежность грустная русской души»), неподвластные никаким «душеустроителям», получили в поэзии Есенина прямое свое выражение. И пусть его деревня, его Русь представляли чаще всего далекими, несбыточными снами, они все равно были реальнее того, что творилось наяву. Искусство современного мастера не только по форме напоминало дедовские напевы, оно несло в себе тот же неистребимый дух. В нем совершалось продолжение и развитие родовых начал: С теми же улыбками, радостью и муками,

Что певалось дедами, то поется внуками.

Безусловно, поэт чувствовал, что, оставаясь верным своему дарованию, не умея, и, по самому строгому счету, не желая приноровить его к «потребностям эпохи», он оказывался в положении почти безвыходном. Не случайно в эти годы творческого подвига он ненадолго «оттаивал сердцем» именно вдали от Центральной России — среди любивших его поэтов Грузии, рабочих на бакинских нефтяных промыслах. В тех краях, откуда великая Родина могла показаться по-прежнему созвучной его поэтическому миру. Не случайно стремился он уехать еще дальше — в Персию. Но каждое возвращение в Москву, в Константиново вызывало у него новые тягостные настроения. Живое слово пробивалось через такие преграды, что в позднем творчестве Есенина просто не могла не звучать постоянная нота собственной обреченности. В некоторых самых поздних его стихах он выглядел непомерно усталым. Правда и то, что иные мотивы «Москвы кабацкой», окрашенные теперь своеобразным мистицизмом, нет-нет да и просыпались в них. Два дня в ноябре 1925 года Есенин посвятил завершению поэмы «Черный человек».

И все же никакая усталость не могла до конца омрачить подлинную природу этой поэзии. Чем обреченнее на земле она звучала, тем сильнее слышалась в ней тоска по иному, лучшему из миров. И бесконечные Небеса осеняли ее своим «несказанным светом»: Над окошком месяц. Под окошком ветер.

Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий —

И такой родимый, и такой далекий.

Сергей Есенин погиб ночью с 27 на 28 декабря 1925 года в номере ленинградской гостиницы «Англетер» («Интернационал») при

загадочных и темных обстоятельствах. Станным образом случилось это ровно в сотую годовщину восстания декабристов – первой на Руси видимой попытки революционного переворота, почти на том же самом месте. Официальная версия того, что произошло в эту ночь, однозначно утверждала: самоубийство. На протяжении многих десятилетий она оставалась едва ли не общепризнанной. Современные исследователи (криминалисты в том числе) нередко утверждают: есть веские основания усомниться в ее добросовестности и достоверности. Доказательства, хотя и косвенные, насильственной смерти поэта и в самом деле столь многочисленны, что сделанный по горячим следам вывод о «наложении рук» выглядит очень уязвимым. Будет ли истина когда-нибудь установлена бесспорно, со всей неопровержимостью фактов, – этого нам знать не дано.

Вопрос о последних минутах великого русского художника не есть между тем только вопрос восстановления исторической правды. Если он собственными падениями и взлетами выразил путь своего народа, то и последний его миг в определенном смысле явился воплощением русской судьбы в ее наиболее важных, устремленных в будущее чертах. Огромное движение, проделанное Есениным за его жизнь, главные итоги этого движения слишком противоречат мысли о его самоубийстве. Одухотворенность поздней его поэзии способна убеждать: не участь висельника Иуды, а честная мученическая смерть во искупление грехов была уготована ему в конце.

Разве нет у нас права предположить, что слуги «прескверного гостя» (какие бы причины ни скрывались за их действиями) решили уничтожить светлый дар, который оказался в итоге им неподвластен? И в этом случае кончина Есенина обретает великий смысл, во всем сопричастный его родине, даже в самой смерти вечно побеждающей своих ненавистников. Потому что можно уничтожить сосуд, наполненный светом, но сам свет, саму любовь убить невозможно. Не эти ли очевидные истины заставили священника после разговора с матерью поэта, несмотря на то что Церковь, исключая особые случаи, не молится о самоубийцах, совершить заочное отпевание раба Божия Сергея?

Есенин – не просто классик отечественной литературы. Весь XX век, минуя клевету, годами длившееся умолчание, любые попытки «ограничить» его творчество, он продолжал оставаться для россиян самым необходимым, дорогим собеседником. Так же как люди одной с ним эпохи, мы по-прежнему переживаем им сказанное как сокровенное, свое. Поэзия Есенина с полным правом принадлежит каждому из нас и одновременно тому целому, что составляем мы вместе как народ. Этот «тихий лирик», этот «златовласый юноша» есть воистину значительная фигура в духовной истории нашего отечества. Переболевший всеми «болями» своего времени, знавший, как мало кто другой, прямые пути к потаенной судьбе России, он – одно из тех явлений, что вселяют надежду на ее подлинное возрождение. Смутам и крушениям вопреки.

Александр Гулин

«Ой ты, Русь, моя родина кроткая...»

1910–1916

«Вот уж вечер. Роса...»

Вот уж вечер. Роса

Блестит на крапиве.

Я стою у дороги,

Прислонившись к иве.

От луны свет большой

Прямо на нашу крышу.

Где-то песнь соловья

Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,

Как зимой у печки.

И березы стоят,

Как большие свечи.

И вдали за рекой,

Видно, за опушкой,

Сонный сторож стучит

Мертвой колотушкой.

1910

«Там, где капустные грядки...»

Там, где капустные грядки

Красной водой поливает восход,

Клененочек маленький матке

Зеленое вымя сосет.

1910

«Поет зима – аукает...»

Поет зима – аукает,

Мохнатый лес баюкает»

Стозвоном сосняка.

Кругом с тоской глубокою

Плывут в страну далекую

Седые облака.

А по двору метелица

Ковром шелковым стелется,

Но больно холодна.

Воробышки игривые,

Как детки сиротливые,

Прижались у окна.

Озябли пташки малые,

Голодные, усталые,

И жмутся поплотней.

А вьюга с ревом бешеным

Стучит по ставням свешенным

И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные

Под эти вихри снежные

У мерзлого окна.

И снится им прекрасная,

В улыбках солнца ясная

Красавица весна.

1910

«Сыплет черемуха снегом...»

Сыплет черемуха снегом,

Зелень в цвету и росе.

В поле, склоняясь к побегам,

Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,

Пахнет смолистой сосной.

Ой вы, луга и дубравы, —

Я одурманен весной.

Радуют тайные вести,

Светятся в душу мою.

Думаю я о невесте,

Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,

Пойте вы, птахи, в лесу.

По полю зыбистым бегом

Пеной я цвет разнесу.

1910

Подражанье песне

Ты поила коня из горстей в поводу,

Отражаясь, березы ломались в пруду.

Я смотрел из окошка на синий платок,

Кудри черные змейно трепал ветерок.

Мне хотелось в мерцании пенистых струй

С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.

Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,

Унеслася ты вскачь, удилами звеня.

В пряже солнечных дней время выткало нить.

Мимо окон тебя понесли хоронить.

И под плач панихид, под кадильный канон,

Все мне чудился тихий раскованный звон.

1910

«Выткался на озере алый свет зари...»

Выткался на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется – на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,

Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,

Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,

Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари.

Есть тоска веселая в алостях зари.

1910

Калики

Проходили калики деревнями,

Выпивали под окнами квасу,

У церкви пред затворами древними

Поклонялись пречистому Спасу.

Пробиралися странники по полю,

Пели стих о сладчайшем Иисусе.

Мимо клячи с поклажею топали,

Подпевали горластые гуси.

Ковыляли убогие по стаду,

Говорили страдальные речи:

«Все единому служим мы Господу,

Возлагая вериги на плечи».

Вынимали калики поспешливо

Для коров сбереженные крохи.

И кричали пастушки насмешливо:

«Девки, в пляску! Идут скоморохи!»

1910

«Хороша была Танюша, краше не было в селе...»

Хороша была Танюша, краше не было в селе,

Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.

У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.

Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:

«Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой».

Побледнела, словно саван, схолодела, как роса.

Душегубкою-змеею развилась ее коса.

«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,

Я пришла тебе сказать: за другого выхожу».

Не заутренние звоны, а венчальный переклик,

Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.

Не кукушки загрустили – плачет Танина родня,

На виске у Тани рана от лихого кистеня.

Алым венчиком кровинки запеклися на челе, —

Хороша была Танюша, краше не было в селе.

1911

«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...»

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.

Выходи встречать к околице, красотка, жениха.

Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.

Я играю на тальяночке про синие глаза.

То не зори в струях озера свой выткали узор,

Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул косогор.

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.

Пусть послушает красавица прибаски жениха.

1912

«Задымился вечер, дремлет кот на бруссе...»

Задымился вечер, дремлет кот на бруссе,

Кто-то помолился: «Господи Исусе».

Полыхают зори, курятся туманы,

Над резным окошком занавес багряный.

Вьются паутины с золотой повети.

Где-то мышшь скребется в затворенной клети...

У лесной поляны – в свяслах копны хлеба,

Ели, словно копья, уперлися в небо.

Закадили дымом под росую рощи...

В сердце почивают тишина и мощи.

1912

Береза

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежную каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

<1913>

«Шел Господь пытаться людей в любви...»

Шел Господь пытаться людей в любви,

Выходил он нищим на кулижку.

Старый дед на пне сухом, в дуброве,

Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,

На тропинке, с клюшкой железной,

И подумал: «Вишь, какой убогой, —

Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку.

Видно, мол, сердца их не разбудишь...

И сказал старик, протягивая руку:

«На, пожуй... маленько крепче будешь».

1914

«Троицыно утро, утренний канон...»

Троицыно утро, утренний канон,

В роще по березкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,

В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.

Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,

Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон.

В роще по березкам белый перезвон.

1914

«Пойду в скуфье смиренным иноком...»

Пойду в скуфье смиренным иноком

Иль белобрысым босяком —

Туда, где льется по равнинам

Березовое молоко.

Хочу концы земли измерить,

Доверясь призрачной звезде,

И в счастье ближнего поверить

В звенящей рожью борозде.

Рассвет рукой прохлады росной

Сшибает яблоки зари.

Сгребая сено на покосах,

Поют мне песни косари.

Глядя за кольца лычных прясел,

Я говорю с самим собой:

Счастлив, кто жизнь свою украсил

Бродяжной палкой и сумой.

Счастлив, кто в радости убогой,

Живя без друга и врага,

Пройдет проселочной дорогой,

Молясь на копны и стога.

<1914–1922>

«Сторона ль моя, сторонка...»

Сторона ль моя, сторонка,

Горевая полоса.

Только лес, да посолонка,

Да заречная коса...

Чахнет старая церквушка,

В облака закинув крест.

И забольная кукушка

Не летит с печальных мест.

По тебе ль, моей сторонке,

В половодье каждый год

С подожочка и котомки

Богомольный льется пот.

Лица пыльны, загорелы,

Веки выглодала даль,

И впилась в худое тело

Спаса кроткого печаль.

1914

«По дороге идут богомолки...»

По дороге идут богомолки,
Под ногами полынь да комли.
Раздвигая щипульные колки,
На канавах звенят костыли.
Топчут лапти по полю кукольни,
Где-то ржанье и храп табуна,
И зовет их с большой колокольни
Гулкий звон, словно зык чугуна.
Отряхают старухи дулейки,
Вяжут девки косницы до пят.
Из подворья с высокой келейки
На платки их монахи глядят.
На ворота монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне»,
А в саду разбрехались собаки,
Словно чуя воров на гумне.
Лижут сумерки золото солнца,
В дальних рощах аукает звон...
По тени от ветлы-веретенца
Богомолки идут на канон.

1914

«Черная, по?том пропахшая выть!...»

Черная, по?том пропахшая выть!

Как мне тебя не ласкать, не любить?

Выйду на озеро в синюю гать,

К сердцу вечерняя льнет благодать.

Серым веретьем стоят шалаши,

Глухо баюкают хлюпъ камыши.

Красный костер окровил таганы,

В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари

Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали, на кукане реки,

Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...

Грустная песня, ты – русская боль.

1914

«Топи да болота...»

Топи да болота,

Синий плат небес.

Хвойной позолотой

Взвенивает лес.

Тенькает синица

Меж лесных кудрей,

Темным елям снится

Гомон косарей.

По лугу со скрипом

Тянется обоз —

Суховатой липой

Пахнет от колес.

Слушают ракиты

Посвист ветряной...

Край ты мой забытый,

Край ты мой родной!..

1914

Русь

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах
Как синеют кругом небеса.
Воют в сумерки долгие, зимние,
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в погорающем инее
Над застрехами храп лошадей.
Как совиные глазки, за ветками
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.
Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь – везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мгlistые
На березках висят галуны.

Но люблю тебя, родина кроткая!

А за что – разгадать не могу.

Весела твоя радость короткая

С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою

Слушать вечером гуд комаров.

А как гаркнут ребята тальянкою,

Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,

Угли-очи в подковах бровей.

Ой ты, Русь моя, милая родина,

Сладкий отдых в шелку купырей.

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.
Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.
Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.
Собиралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клади в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.
По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

Затомилась деревня невесточкой —

Как-то милые в дальнем краю?

Отчего не уведомят весточкой, —

Не погибли ли в жарком бою?

В роще чудились запахи ладана,

В ветре бластились стуки костей.

И пришли к ним нежданно-негаданно

С дальней волости груды вестей.

Сберегли по ним пахари памятку,

С потом вывели всем по письму.

Подхватили тут родные грамотку,

За ветловую сели тесьму.

Собралися над четницей Лушею

Допытаться любимых речей.

И на корточках плакали, слушая,

На успехи родных силачей.

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижинки хилые
С поджиданьем седых матерей.
Припаду к лапоточкам берестяным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.
Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.
Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.
Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.
А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в даях за дымами
Над лугами веселый покос.
Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

1914

«Край любимый! Сердцу снятся...»

Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных.

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на переметке,

Резеда и риза кашки.

И вызванивают в четки

Ивы – кроткие монашки.

Курит облаком болото,

Гарь в небесном коромысле.

С тихой тайной для кого-то

Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, все приемлю,

Рад и счастлив душу вынуть.

Я пришел на эту землю,

Чтоб скорей ее покинуть.

1914

В хате

Пахнет рыхлыми драченами;

У порога в дежке квас,

Над печурками точеными

Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,

В печке нитки попелиц,

А на лавке за солонкою —

Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,

Нагибается низко?,

Старый кот к махотке крадется

На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные

Над оглоблями сохи,

На дворе обедню стройную

Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,

От пугливой шумоты,

Из углов щенки кудлатые

Заползают в хомуты.

1914

«Я пастух, мои палаты...»

Я пастух, мои палаты —

Межи зыбистых полей,

По горам зеленым – скаты

С гарком гулких дупелей.

Вяжут кружево над лесом

В желтой пене облака.

В тихой дреме под навесом

Слышу шепот сосняка.

Светят зелено в сутёмы

Под рососою тополя.

Я – пастух; мои хоромы —

В мягкой зелени поля.

Говорят со мной коровы

На кивливом языке.

Духовитые дубровы

Кличут ветками к реке.

Позабыв людское горе,

Сплю на вырублях сучья.

Я молюсь на алы зори,

Причащаюсь у ручья.

1914

«Гой ты, Русь, моя родная...»

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты – в ризах образа...

Не видать конца и края —

Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,

Я смотрю твои поля.

А у низеньких околиц

Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом

По церквам твой кроткий Спас.

И гудит за корогодом

На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке

На приволь зеленых лех,

Мне навстречу, как сережки,

Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

1914

Осень

Р. В. Иванову

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.

Осень – рыжая кобыла – чешет гриву.

Над речным покровом берегов

Слышен синий лязг ее подков.

Схимник-ветер шагом осторожным

Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту

Язвы красные незримому Христу.

1914<?>

«Сохнет стаявшая глина...»

Сохнет стаявшая глина,

На сугорьях гниль опенок.

Пляшет ветер по равнинам,

Рыжий ласковый осленок.

Пахнет вербой и смолою.

Синь то дремлет, то вздыхает.

У лесного аналя

Воробей псалтырь читает.

Прошгодний лист в овраге

Средь кустов – как ворох меди.

Кто-то в солнечной сермяге

На осленке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,

Но лицо его туманно.

Никнут сосны, никнут ели

И кричат ему: «Осанна!»

1914

«Чую Радуницу Божью...»

Чую Радуницу Божью —

Не напрасно я живу,

Поклоняюсь придорожью,

Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,

Меж берез кудрявых бус,

Под венком, в кольце иголок,

Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,

Как во царствие небес,

И горит в парче лиловой

Облаками крытый лес.

Глубинный дух от Бога,

Словно огненный язык,

Завладел моей дорогой,

Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,

В сердце радость детских снов,

Я поверил от рожденья

В Богородицын покров.

1914

«Наша вера не погасла...»

Наша вера не погасла,

Святы песни и псалмы.

Льется солнечное масло

На зеленые холмы.

Верю, родина, я знаю,

Что легка твоя стопа,

Не одна ведет нас к раю

Богомольная тропа.

Все пути твои – в удаче,

Но в одном лишь счастья нет:

Он закован в белом плаче

Разгадавших новый свет.

Там настроены палаты

Из церковных кирпичей;

Те палаты – казематы

Да железный звон цепей.

Не ищи меня ты в Боге,

Не зови любить и жить...

Я пойду по той дороге

Буйну голову сложить.

1915

Корова

Дряхлая, выпали зубы,

Свиток годов на рогах.

Бил ее выгонщик грубый

На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,

Мыши скребут в уголке.

Думает грустную думу

О белоногом телке.

Не дали матери сына,

Первая радость не впрок.

И на колу под осиной

Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом сее,

С той же сыновней судьбой,

Свяжут ей петлю на шее

И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще

В землю вопьются рога...

Снится ей белая роща

И травяные луга.

1915

«Я снова здесь, в семье родной...»

Я снова здесь, в семье родной,

Мой край, задумчивый и нежный!

Кудрявый сумрак за горой

Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня

Плывут всклокоченные мимо,

И грусть вечерняя меня

Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав

Тень от зари упала ниже.

О други игрищи забав,

Уж я вас больше не увижу!

В забвенье канули года,

Вослед и вы ушли куда-то.

И лишь по-прежнему вода

Шумит за мельницей крылатой.

И часто я в вечерней мгле,

Под звон надломленной осоки,

Молюсь дымящейся земле

О невозвратных и далеких.

Июнь 1916

«За темной прядью перелесиц...»

За темной прядью перелесиц,

В неколебимой синеве,

Ягненок кудрявый – месяц

Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой

Бодаются его рога, —

И кажется с тропы далекой —

Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым

Кадит черемуховый дым

И за долинами по склонам

Свивает полымя над ним.

О сторона ковыльной пущи,

Ты сердцу ровностью близка,

Но и в твоей таится гуще

Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной тебе,

Забыв, кто друг тебе и враг,

О розовом тоскуешь небе

И голубиных облаках.

Но и тебе из синей шири

Пугливо кажет темнота

И кандалы твоей Сибири,

И горб Уральского хребта.

<1916>

«Не бродить, не мять в кустах багряных...»

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,

Нежная, красивая, была

На закат ты розовый похожа

И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,

Имя тонкое растаяло, как звук,

Но остался в складках смятой шали

Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,

Как котенок, моет лапкой рот,

Говор кроткий о тебе я слышу

Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,

Что была ты песня и мечта,

Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи —

К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

<1916>

«О красном вечере задумалась дорога...»

О красном вечере задумалась дорога,

Кусты рябин туманной глубины.

Изба-старуха челюстью порога

Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко

Крадется мглой к овсяному двору;

Сквозь синь стекла желтоволосый отрок

Лучит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети

Зола зеленая из розовой печи.

Кого-то нет, и тонкогубый ветер

О ком-то шепчет, сгнувшем в ночи.

Кому-то пятками уже не мять по рощам

Щербленный лист и золото травы.

Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,

Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,

Дорога белая узорит скользкий ров...

И нежно охает ячменная солома,

Свисая с губ кивающих коров.

<1916>

«Запели тесаные дроги...»

Запели тесаные дроги,

Бегут равнины и кусты.

Опять часовни на дороге

И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен

От овсяного ветерка.

И на известку колоколен

Невольно крестится рука.

О Русь – малиновое поле

И синь, упавшая в реку, —

Люблю до радости и боли

Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,

Ты на туманном берегу.

Но не любить тебя, не верить —

Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,

И не расстанусь с долгим сном,

Когда звенят родные степи

Молитвословным ковылем.

<1916>

«Там, где вечно дремлет тайна...»

Там, где вечно дремлет тайна,

Есть нездешние поля.

Только гость я, гость случайный

На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,

Крепок взмах воздушных крыл.

Но века твои и годы

Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,

Не с тобой мой связан рок.

Новый путь мне уготован

От захода на восток.

Суждено мне изначально

Возлететь в немую тьму.

Ничего я в час прощальный

Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,

В тот покой, где спит гроза,

В две луны зажгу над бездной

Незакатные глаза.

1916

«Устал я жить в родном краю...»

Устал я жить в родном краю

В тоске по гречневым просторам,

Покину хижину мою,

Уйду бродягою и воров.

Пойду по белым кудрям дня

Искать убогое жилище.

И друг любимый на меня

Наточит нож за голенище.

Весной и солнцем на лугу

Обвита желтая дорога,

И та, чье имя берегу,

Меня прогонит от порога.

И вновь вернуся в отчий дом,

Чужою радостью утешусь,

В зеленый вечер под окном

На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня

Нежнее головы наклонят.

И необмытого меня

Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,

Роняя весла по озерам...

И Русь все так же будет жить,

Плясать и плакать у забора.

<1916>

«Прощай, родная пуща...»

Прощай, родная пуща,

Прости, златой родник.

Плывут и рвутся тучи

О солнечный сошник.

Сияй ты, день погожий,

А я хочу грустить.

За голенищем ножик

Мне больше не носить.

Под брюхом жеребенка

В глухую ночь не спать

И радостью звонкой

Лесов не оглашать.

И не избегнуть бури,

Не миновать утрат,

Чтоб прозвенеть в лазури

Кольцом незримых врат.

1916

«В багровом зареве закат шипуч и пенен...»

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Березки белые горят в своих венцах.

Приветствует мой стих молодых царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,

Они тому, кто шел страдать за нас,

Протягивают царственные руки,

Благословляя их к грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладет печать на лбу.

О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

<1916>

«Покраснела рябина...»

Покраснела рябина,

Посинела вода.

Месяц, всадник унылый,

Уронил повода.

Снова выплыл из рожи

Синим лебедем мрак.

Чудотворные мощи

Он принес на крылах.

Край ты, край мой, родимый,

Вечный пахарь и вой,

Словно Во?льга под ивой,

Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,

Навестил тебя Спас.

Лебединое пенье

Нежит радугу глаз.

Дня закатного жертва

Искупила весь грех.

Новой свежестью ветра

Пахнет зреющий снег.

Но незримые дрожжи

Все теплей и теплей...

Помяну тебя в дождик

Я, Есенин Сергей.

1916

«Не в моего ты Бога верила...»

Не в моего ты Бога верила,
Россия, родина моя!
Ты как колдунья дали мерила,
И был как пасынок твой я.
Боец забыл отвагу смелую,
Пророк одрях и стал слепой.
О, дай мне руку охладелую —
Идти единою тропой.
Пойдем, пойдем, царевна сонная,
К веселой вере и одной,
Где светит радость испоконная
Неопалимой купиной.
Не клонь главы на грудь могучую
И не пугайся вещим сном.
О, будь мне матерью напутною
В моем паденье роковом.

<1916>

«Где ты, где ты, отчий дом?..»

1917–1922

«Разбуди меня завтра рано...»

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.
Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.
На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,

Засвети в нашей горнице свет.

Говорят, что я скоро стану

Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,

Нашу печь, петуха и кров...

И на песни мои прольется

Молоко твоих рыжих коров.

1917

«Не напрасно дули ветры...»

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.
С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.
Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.
Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.
И неволью в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

<1917>

«Где ты, где ты, отчий дом...»

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?
За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.
Время – мельница с крылом

Опускает за селом

Месяц маятником в рожь

Лить часов незримый дождь.

Время – мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел

В тучах дом мой завертел,

Синий подкосил цветок,

Золотой примял песок.

Этот дождик с сонмом стрел.

1917

«Серебристая дорога...»

Серебристая дорога,

Ты зовешь меня куда?

Свечкой чисточетверговой

Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?

Иль к безумью правишь бег?

Помоги мне сердцем вещним

Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,

Ветку вербы на узду.

Может быть, к вратам Господним

Сам себя я приведу.

<1918>

«О верю, верю, счастье есть!...»

О верю, верю, счастье есть!

Еще и солнце не погасло.

Заря молитвенником красным

Пророчит благостную весть.

О верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, золотая Русь,

Волнуйся, неумный ветер!

Блажен, – кто радостью отметил

Твою пастушескую грусть.

Звени, звени, золотая Русь.

Люблю я ропот буйных вод

И на волне звезды сиянье.

Благословенное страданье,

Благословляющий народ.

Люблю я ропот буйных вод.

1917

Пришествие

А. Белому

Господи, я верую!..

Но введи в свой рай

Дождевыми стрелами

Мой пронзенный край.

За горой нехоженой,

В синеве долин,

Снова мне, о Боже мой,

Предстает твой сын.

По тебе молюся я

Из мужичьих мест;

Из прозревшей России

Он несет свой крест.

Но пред тайной острова

Безначальных слов

Нет за ним апостолов,

Нет учеников.

О Русь, приснодева,

Поправшая смерть!

Из звездного чрева

Сошла ты на твердь.

На яслях овечьих

Осынила дол

За то, что в предтечах

Был пахарь и вол.

Возри же на нивы,

На сжатый овес, —

Под снежную ивой

Упал твой Христос!

Опять его вои

Стегают плетьюми

И бьют головою

О выступы тьмы...

Но к вихрю бездны
Он нем и глух.
С шеста созвездья
Поет петух.
О други, где вы?
Уж близок срок.
Темно ты, чрево,
И крест высок.
Вот гор воитель
Ощупал мглу.
Христа рачитель
Сидит в углу.
«Я видел: с ним он
Нам сеял мрак!»
«Нет, я не Симон...
Простой рыбак».
Вздохнула плесень,
И снег потух...
То третью песню
Пропел петух.

Ей, Господи,

Царю мой!

Дьяволы на руках

Укачали землю.

Снова пришествию его

Поднят крест.

Снова раздирается небо.

Тишина полей и разума

Точит копья.

Лестница к саду твоему

Без приступок.

Как взойду, как поднимусь по ней

С кровью на отцах и братьях?

Тянет меня земля,

Оцепили пески.

На реках твоих

Сохну.

Симоне, Петр...

Где ты? Приди.

Вздогнули ветлы:

«Там, впереди!»

Симоне, Петр...

Где ты? Зову!

Шепчется кто-то:

«Кричи в синеву!»

Крикнул – и громко

Вздыбился мрак.

Вышел с котомкой

Рыжий рыбак.

«Друг... Ты откуда?»

«Шел за тобой...»

«Кто ты?» – «Иуда!» —

Шамкнул прибой.

Рухнули гнезда

Облачных риз.

Ласточки-звезды

Канули вниз.

О Саваофе!

Покровом твоим рек и озер

Прикрой сына!

Под ивой бьют его вои

И голгофят снега твои.

О ланиту дождей

Преломи

Лезвие заката...

Трубами вьюг

Возвести языки...

Но не в суд или во осуждение.

Явись над Елеоном
И правде наших мест!
Горстью златых затонов
Мы окропим твой крест.
Холмы поют о чуде,
Про рай звенит песок.
О верю, верю – будет
Телиться твой восток!
В моря овса и гречи
Он кинет нам телка...
Но долгод срок до встречи,
А гибель так близка!
Уйми ты ржанье бури
И топ громов уйми!
Пролей ведро лазури
На ветхое деньми!
И дай дочерпать волю
Медведицей и сном,
Чтоб вытекшей душою
Удобрить чернозем...
Октябрь 1917
«О пашни, пашни, пашни...»
О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.
Как птицы, свищут версты
Из-под копыт коня.
И брызжет солнце горстью
Свой дождик на меня.
О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.
И мыслил и читал я
По библии ветров,

И пас со мной Исая

Моих златых коров.

1918

«Нивы сжаты, рощи голы...»

Нивы сжаты, рощи голы,

От воды туман и сырость.

Колесом за сини горы

Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.

Ей сегодня примечталось,

Что совсем-совсем немного

Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаше звонкой

Увидал вчера в тумане:

Рыжий месяц жеребенком

Запрягался в наши сани.

1917

«Я по первому снегу бреду...»

Я по первому снегу бреду,

В сердце ландыши вспыхнувших сил.

Вечер синею свечкой звезду

Над дорогой моей засветил.

Я не знаю, то свет или мрак?

В чаще ветер поет иль петух?

Может, вместо зимы на полях

Это лебеди сели на луг.

Хороша ты, о белая гладь!

Греет кровь мою легкий мороз!

Так и хочется к телу прижать

Обнаженные груди берез.

О лесная, дремучая муть!

О веселье оснеженных нив!..

Так и хочется руки сомкнуть

Над древесными бедрами ив.

1917

Июния

Пророку Иеремии

Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое пришло,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплываю изо рта.
Не хочу воспринять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех.
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.

Лай колоколов над Русью грозный —

Это плачут стены Кремля.

Ныне на пики звездные

Вздыбливаю тебя, земля!

Протянусь до незримого города,

Млечный прокушу покров.

Даже Богу я выщиплю бороду

Оскалом моих зубов.

Ухвачу его за гриву белую

И скажу ему голосом вьюг:

Я иным тебя, Господи, сделаю,

Чтобы зрел мой словесный луг!

Проклинаю я дыхание Китежа

И все лощины его дорог.

Я хочу, чтоб на бездонном вытяже

Мы воздвигли себе чертог.

Языком вылижу на иконах я

Лики мучеников и святых.

Обещаю вам град Инонию,

Где живет божество живых!

Плачь и рыдай, Московия!

Новый пришел Индикоплов.

Все молитвы в твоём Часослове я

Проклюю моим клювом слов.

Уведу твой народ от упования,

Дам ему веру и мощь,

Чтобы плугом он в зори ранние

Распахивал с солнцем ночь.

Чтобы поле его словесное

Выращало ульями злак,

Чтобы зерна под крышей небесною

Озлащали, как пчелы, мрак.

Проклинаю тебя я, Радонеж,

Твои пятки и все следы!

Ты огня золотого залежи

Разрыхлял киркою воды.

Стая туч твоих, по-волньи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.
Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож.
На реках вавилонских мы плакали,
И кровавый мочил нас дождь.
Ныне ж бури воловьим голосом
Я кричу, сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы
Из лоханки второй луны.
Говорю вам – вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой Бог.
И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев.
Все равно – он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.
Все равно – он спалит телением,
Что ковало реке берега.
Разгвоздят мировое кипение
Золотые его рога.
Новый сойдет Олипий
Начертать его новый лик.
Говорю вам – весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.
До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нащу землю-матерь
Разломлю, как златой калач.
И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,

Я главу свою власозвездную

Просуну, как солнечный блеск.

И четыре солнца из облачья,

Как четыре бочки с горы,

Золотые рассыпав обручи,

Скатясь, всколыхнут миры.

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом – рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвоздинами
Сияние далеких звезд.
Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.
Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.
Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытю тучи, как лось;
Колесами солнце и месяц
Надены на земную ось.
Говорю тебе – не пой молебствия
Проволочным твоим лучам.
Не осветят они пришествия,
Бегущего овцой по горам!
Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.
Звездами золотые копытца
Скатятся, взбороздив ночь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.
Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром;
Как пожар, размечу волосья
И лицо закрою крылом.

За уши встряхну я горы,
Копьями вытяну ковыль.
Все тыны твои, все заборы
Горстью смету, как пыль.
И вспашу я черные щѣки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди златые, вытянет
Солнце лучи на дол.
Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.
И, как белки, желтые весны
Будут прыгать по сучьям дней.
Синие забрезжут реки,
Просверлив все преграды глыб.
И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб.
Говорю тебе – будет время,
Отплещут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.
И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.
В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.
Прищепит его у окошка,
Схватит на своем горбе, —
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.
И тихо под шепот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечки
Капает песня с гор:
«Слава в вышних Богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды —
Светлого Исуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.

Новый на кобыле

Едет к миру Спас.

Наша вера – в силе.

Наша правда – в нас!»

Январь 1918

«Я покинул родимый дом...»

Я покинул родимый дом,

Голубую оставил Русь.

В три звезды березняк над прудом

Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна

Распласталась на тихой воде.

Словно яблонный цвет, седина

У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!

Долго петь и звенеть пурге,

Стережет голубую Русь

Старый клен на одной ноге,

И я знаю, есть радость в нем

Тем, кто листьев целует дождь,

Оттого, что тот старый клен

Головой на меня похож.

1918

«Вот оно, глупое счастье...»

Вот оно, глупое счастье

С белыми окнами в сад!

По пруду лебедем красным

Плавает тихий закат.

Здравствуй, златое затишье,

С тенью березы в воде!

Галочья стая на крыше

Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,

Там, где калина цветет,

Нежная девушка в белом

Нежную песню поет.

Стелется синею рясой

С поля ночной холодок...

Глупое, милое счастье,

Свежая розовость щек!

1918

«Зеленая прическа...»

Л. И. Кашиной

Зеленая прическа,

Девическая грудь,

О тонкая березка,

Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?

О чем звенит песок?

Иль хочешь в косы-ветви

Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну

Твоих древесных дум,

Я полюбил – печальный

Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:

«О любопытный друг,

Сегодня ночью звездной

Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,

Сияли зеленыя.

За голые колени

Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубоко,

Сказал под звон ветвей:

«Прощай, моя голубка,

До новых журавлей».

15 августа 1918

«Закружилась листва золотая...»

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,

Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи

Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,

Синий сумрак как стадо овец,

За калиткою смолкшего сада

Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо

Так не слушал разумную плоть,

Хорошо бы, как ветками ива,

Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,

Мордой месяца сено жевать...

Где ты, где, моя тихая радость —

Все любя, ничего не желать?

1918

«Душа грустит о небесах...»

Душа грустит о небесах.

Она нездешних нив жилица.

Люблю, когда на деревьях

Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов.

Как свечи, теплятся пред тайной,

И расцветают звезды слов

На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол,

Но не стряхну я муку эту,

Как отразивший в водах дол

Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами

В хребты их пьющую луну...

О, если б прорасти глазами,

Как эти листья, в глубину.

Песнь о собаке

Утром в ржаном закуте,

Где златятся рогожи в ряд,

Семерых ощенила сука,

Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,

Причесывая языком,

И струился снежок подталый

Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры

Обсиживают шесток,

Вышел хозяин хмурый,

Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,

Поспевая за ним бежать...

И так долго, долго дрожала

Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,

Слизывая пот с боков,

Показался ей месяц над хатой

Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко

Глядела она, скуля,

А месяц скользил тонкий

И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех,

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.

<1919> (?)

Хулиган

Дождик мокрыми метлами чистит

Ивняковый помет по лугам.

Плюйся, ветер, охапками листьев, —

Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,

Как с тяжелой походкой воны,

Животами, листвою хрипящими,

По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!

Кто ж воспеть его лучше мог?

Вижу, вижу, как сумерки лижут

Следы человеческих ног.

Русь моя, деревянная Русь!

Я один твой певец и глашатай.

Звериных стихов моих грусть

Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин

Зачерпнуть молока берез!

Словно хочет кого придушить

Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,

Злобу вора струит в наш сад,

Только сам я разбойник и хам

И по крови степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит

Кипяченых черемух рать?

Мне бы в ночь в голубой степи

Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,

Засосал меня песенный плен.

Осужден я на каторге чувств

Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветер,

Плюй спокойно листвой по лугам.

Не сотрет меня кличка «поэт»,

Я и в песнях, как ты, хулиган.

1919

«Я последний поэт деревни...»

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.
Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.
Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.
Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

<1920>

«По-осеннему кычет сова...»

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.
Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,

Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,

В новом лес огласится свисте.

По-осеннему сыплет ветер,

По-осеннему шепчут листья.

1920

Сорокоуст

А. Мариенгофу

Трубит, трубит погибельный рог!

Как же быть, как же быть теперь нам

На измызганных ляжках дорог?

Вы, любители песенных блох,

Не хотите ль

Полно кротостью мордищ праздниться,

Любо ль, не любо ль – знай бери.

Хорошо, когда сумерки дразнятся

Исыпают нам в толстые задницы

Окровавленный веник зари.

Скоро заморозь известью выбелит

Тот поселок и эти луга.

Никуда вам не скрыться от гибели,

Никуда не уйти от врага.

Вот он, вот он с железным брюхом,

Тянет к глоткам равнин пятерню,

Водит старая мельница ухом,

Навострив мукомольный нюх.

И дворовый молчальник бык,

Что весь мозг свой на телок пролил,

Вытирая о прясло язык,

Почуял беду над полем.

Ах, не с того ли за селом

Так плачет жалостно гармоника:

Таля-ля-ля, тили-ли-гом

Висит над белым подоконником.

И желтый ветер осенницы

Не потому ль, синь рябью тронув,

Как будто бы с коней скребницей,

Очесывает листья с кленов.

Идет, идет он, страшный вестник,

Пятой громоздкой чащи ломит.

И все сильнее тоскуют песни

Под лягушиный писк в соломе.

О, электрический восход,

Ремней и труб глухая хватка,

Се изб древенчатый живот

Трясет стальная лихорадка!

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поездов?
А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

Черт бы взял тебя, скверный гость!

Наша песня с тобой не сживется.

Жаль, что в детстве тебя не пришлось

Утопить, как ведро в колодце.

Хорошо им стоять и смотреть,

Красить рты в жестяных поцелуях, —

Только мне, как псаломщику, петь

Над родимой страной аллилуйя.

Оттого-то в сентябрьскую склень

На сухой и холодный суглинок,

Головой разможжась о плетень,

Облилась кровью ягод рябина.

Оттого-то вросла тужиль

В переборы тальянки звонкой.

И соломой пропахший мужик

Захлебнулся лихой самогонкой.

Август 1920

Исповедь хулигана

Не каждый умеет петь,

Не каждому дано яблоком

Падать к чужим ногам.

Сие есть самая великая исповедь,

Которой исповедуется хулиган.

Я нарочно иду нечесаным,

С головой, как керосиновая лампа, на плечах.

Ваших душ безлиственную осень

Мне нравится в потемках освещать.

Мне нравится, когда каменья брани

Летят в меня, как град рыгающей грозы,

Я только крепче жму тогда руками

Моих волос качнувшийся пузырь.

Так хорошо тогда мне вспоминать

Заросший пруд и хриплый звон ольхи,

Что где-то у меня живут отец и мать,

Которым наплевать на все мои стихи,

Которым дорог я, как поле и как плоть,

Как дождик, что весной взрыхляет зелень.

Они бы вилами пришли вас заколоть

За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Бедные, бедные крестьяне!

Вы, наверно, стали некрасивыми,

Так же боитесь Бога и болотных недр.

О, если б вы понимали,

Что сын ваш в России

Самый лучший поэт!

Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,

Когда босые ноги он в лужах осенних макал?

А теперь он ходит в цилиндре

И лакированных башмаках.

Но живет в нем задор прежней вправки

Деревенского озорника.

Каждой корове с вывески мясной лавки

Он кланяется издалека.

И, встречаясь с извозчиками на площади,

Вспоминая запах навоза с родных полей,

Он готов нести хвост каждой лошади,

Как венчального платья шлейф.

Я люблю родину.

Я очень люблю родину!

Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.

Приятны мне свиной испачканные морды

И в тишине ночной звенящий голос жаб.

Я нежно болен воспоминаньем детства,

Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.

Как будто бы на корточки погреться

Присел наш клен перед костром зари.

О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих,

Карабкаясь по сучьям, воровал!

Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой?

По-прежнему ль крепка его кора?

А ты, любимый,

Верный пегий пес?!

От старости ты стал визглив и слеп

И бродишь по двору, влача обвисший хвост,

Забыв чутьем, где двери и где хлев.

О, как мне дороги все те проказы,

Когда, у матери стянув краюху хлеба,

Кусали мы с тобой ее по разу,

Ни капельки друг другом не погребав.

Я все такой же.

Сердцем я все такой же.

Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.

Стеля стихов злаченные рогожи,

Мне хочется вам нежное сказать.

Спокойной ночи!

Всем вам спокойной ночи!

Отзвенела по траве сумерек зари коса...

Мне сегодня хочется очень

Из окошка луну.....

Синий свет, свет такой синий!

В эту синь даже умереть не жаль.

Ну так что ж, что кажусь я циником,

Прицепившим к заднице фонарь!

Старый, добрый, заезженный Пегас,

Мне ль нужна твоя мягкая рысь?

Я пришел, как суровый мастер,

Воспеть и прославить крыс.

Башка моя, словно август,

Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом

В ту страну, куда мы плывем.

Ноябрь 1920

«Мир таинственный, мир мой древний...»

Мир таинственный, мир мой древний,

Ты, как ветер, затих и присел.

Вот сдавили за шею деревню

Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель

Заметалась звенящая жуть.

Здравствуй ты, моя черная гибель,

Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь,
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давась.
Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.
Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.
Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.
О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты недаром даешься ножу!
Как и ты – я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.
Как и ты – я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.
И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зарюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

1921

«Не жалею, не зову, не плачу...»

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже

Расшевеливаешь пламень уст.

О моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях.

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвести и умереть.

1921

«Все живое особой метой...»

Все живое особой метой

Отмечается с ранних пор.

Если не был бы я поэтом,

То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,

Средь мальчишек всегда герой,

Часто, часто с разбитым носом

Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме

Я цедил сквозь кровавый рот:

«Ничего! Я споткнулся о камень,

Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла

Этих дней кипяtkовая вязь,

Беспокойная, дерзкая сила

На поэмы мои пролигась.

Золотая, словесная гряда,

И над каждой строкой без конца

Отражается прежняя удаль

Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,

Только новью мой брызжет шаг...

Если раньше мне били в морду,

То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,

А в чужой и хохочущий сброд:

«Ничего! я споткнулся о камень,

Это к завтраму все заживет!»

Февраль 1922

«Я обманывать себя не стану...»

Я обманывать себя не стану,

Залегла забота в сердце мглистом.

Отчего прослыл я шарлатаном?

Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,

Не расстреливал несчастных по темницам.

Я всего лишь уличный повеса,

Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.

По всему тверскому околотку

В переулках каждая собака

Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь

Головой кивает мне навстречу.

Для зверей приятель я хороший,

Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —

В глупой страсти сердце жить не в силе, —

В нем удобней, грусть свою уменьшив,

Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,

Я иному покорился царству.

Каждому здесь кобелю на шею

Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.

Прояснилась омусть в сердце мглистом.

Оттого прослыл я шарлатаном,

Оттого прослыл я скандалистом.

1922

«Да! Теперь решено. Без возврата...»

Да! Теперь решено. Без возврата

Я покинул родные поля.

Уж не будут листвою крылатой

Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне Бог.

Я люблю этот город вязевый,

Пусть обрюзг он и пусть одрях.

Золотая дремотная Азия

Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,

Когда светит... черт знает как!

Я иду, головою свесясь,

Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,

Но всю ночь напролет, до зари,

Я читаю стихи проституткам

И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,

И уж я говорю невпопад:

«Я такой же, как вы, пропащий,

Мне теперь не уйти назад».

Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне Бог.

1922

«Снова пьют здесь, дерутся и плачут...»

Снова пьют здесь, дерутся и плачут

Под гармоники желтую грусть.

Проклинают свои неудачи,

Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,

Заливаю глаза вином,

Чтоб не видеть в лицо роковое,

Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то всеми навек утрачено.

Май мой синий! Июнь голубой!

Не с того ль так чадит мертвячиной

Над пропащею этой гульбой.

Ах, сегодня так весело россам,

Самогонного спирта – река.

Гармонист с провалившимся носом

Им про Волгу поет и про Чека.

Что-то злое во взорах безумных,

Непокорное в громких речах.

Жалко им тех дурашливых, юных,

Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Где ж вы те, что ушли далече?

Ярко ль светят вам наши лучи?

Гармонист спиртом сифилис лечит,

Что в киргизских степях получил.

Нет! таких не подмять, не рассеять.

Бесшабашность им гнилью дана.

Ты, Рассея моя... Рас...сея...

Азиатская сторона!

<1922>

«Я вновь вернулся в край осиротелый...»

1923–1925

«Эта улица мне знакома...»

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.
Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.
Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.
Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.
Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюду кирпичный,
В завывании дождевом?
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.
Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.
Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе – полевая солома,
Мир тебе – деревянный дом!

<1923>

«Я усталым таким еще не был...»

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.
Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.
Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервые!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?
Не больна мне ничья измена,
И не радуется легкость побед, —
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.
Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
Ничего не хочу вернуть.
Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...
И теперь даже стало не тяжело
Ковылять из притона в притон,
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.
И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все же отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.
В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, —
Шлю привет воробьям, и воронам,
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:

«Птицы милые, в синюю дрожь

Передайте, что я отскандалил, —

Пусть хоть ветер теперь начинает

Под микитки дубасить рожь».

<1923>

«Мне осталась одна забава...»

Мне осталась одна забава:

Пальцы в рот – и веселый свист.

Прокатилась дурная слава,

Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!

Много в жизни смешных потерь.

Стыдно мне, что я в Бога верил.

Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали!

Все сжигает житейская мреть.

И похабничал я и скандалил

Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта – ласкать и корябать,

Роковая на нем печать.

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись

Эти помыслы розовых дней.

Но коль черти в душе гнездились —

Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать.

1923

«Заметался пожар голубой...»

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали.

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь – как запущенный сад,

Был на женщин и зелие падкий.

Разонравилось пить и плясать

И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,

Видеть глаз злато-карий омут,

И чтоб, прошлое не любя,

Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,

Если б знала ты сердцем упорным,

Как умеет любить хулиган,

Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки

И стихи бы писать забросил,

Только б тонко касаться руки

И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой

Хоть в свои, хоть в чужие дали...

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

«Ты такая ж простая, как все...»

Ты такая ж простая, как все,

Как сто тысяч других в России.

Знаешь ты одинокий рассвет,

Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,

Я по-глупому мысли занял.

Твой иконный и строгий лик

По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,

Чтил я грубость и крик в повесе,

А теперь вдруг растут слова

Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,

Слишком многое телу надо.

Что ж так имя твое звенит,

Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал

И умею расслышать за пылом:

С детства нравиться я понимал

Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег

Для тебя, для нее и для этой.

Невеселого счастья залог —

Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,

Словно в листья в глаза косые...

Ты такая ж простая, как все,

Как сто тысяч других в России.

1923

«Пускай ты выпита другим...»

Пускай ты выпита другим,

Но мне осталось, мне осталось

Твоих волос стеклянный дым

И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне

Дороже юности и лета.

Ты стала нравиться вдвойне

Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу

И потому на голос чванства

Бестрепетно сказать могу,

Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной

И непокорною отвагой.

Уж сердце наполнилось иной,

Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал

Сентябрь багряной веткой ивы,

Чтоб я готов был и встречал

Его приход непрехотливый.

Теперь со многим я мирюсь

Без принужденья, без утраты.

Иною кажется мне Русь,

Иными – кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг

И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,

Что ты одна, сестра и друг,

Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,

Воспитываясь в постоянстве,

Пропеть о сумерках дорог

И уходящем хулиганстве.

1923

«Дорогая, сядем рядом...»

Дорогая, сядем рядом,

Поглядим в глаза друг другу.

Я хочу под кротким взглядом

Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осеннее,

Эта прядь волос белесых —

Все явилось, как спасенье

Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,

Где цветут луга и чащи.

В городской и горькой славе

Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше

Вспоминало сад и лето,

Где под музыку лягушек

Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...

Клен и липы в окна комнат,

Ветки лапами забросив,

Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.

Месяц на простом погосте

На крестах лучами метит,

Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,

Перейдем под эти кущи.

Все волнистые дороги

Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,

Поглядим в глаза друг другу.

Я хочу под кротким взглядом

Слушать чувственную вьюгу.

9 октября 1923

«Мне грустно на тебя смотреть...»

Мне грустно на тебя смотреть,

Какая боль, какая жалость!

Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли

Твое тепло и трепет тела.

Как будто дождик моросит

С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.

Иная радость мне открылась.

Ведь не осталось ничего,

Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег

Для тихой жизни, для улыбок.

Так мало пройдено дорог,

Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.

Так было и так будет после.

Как кладбище, усеян сад

В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы

И отшумим, как гости сада...

Коль нет цветов среди зимы,

Так и грустить о них не надо.

1923

«Ты прохладой меня не мучай...»

Ты прохладой меня не мучай

И не спрашивай, сколько мне лет,

Одержимый тяжелой падучей,

Я душой стал, как желтый скелет.

Было время, когда из предместья

Я мечтал по-мальчишески – в дым,

Что я буду богат и известен

И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком.

Был цилиндр, а теперь его нет.

Лишь осталась одна манишка

С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже, —

От Москвы по парижскую рвань

Мое имя наводит ужас,

Как заборная, громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?

Ты целуешь, а губы как жель.

Знаю, чувство мое перезрело,

А твое не сумеет расцвести.

Мне пока горевать еще рано,

Ну, а если есть грусть – не беда!

Золотей твоих кос по курганам

Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,

Чтоб под шум молодой лебеды

Утонуть навсегда в неизвестность

И мечтать по-мальчишески – в дым.

Но мечтать о другом, о новом,

Непонятном земле и траве,

Что не выразить сердцу словом

И не знает назвать человек.

1923

«Вечер черные брови насопил...»

Вечер черные брови насопил.

Чьи-то кони стоят у двора.

Не вчера ли я молодость пропил?

Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!

Наша жизнь пронеслась без следа.

Может, завтра больничная койка

Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому

Я уйду, исцеленный навек,

Слушать песни дождей и черемух,

Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,

Что терзали меня, губя.

Облик ласковый! Облик милый!

Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,

Но и с нею, с любимой, с другой,

Расскажу про тебя, дорогую,

Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая

Наша жизнь, что былой не была...

Голова ль ты моя удалая,

До чего ж ты меня довела?

1923

Письмо матери

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто ходишь на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке

Часто видится одно и то ж:

Будто кто-то мне в кабацкой драке

Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.

Это только тягостная бредь.

Не такой уж горький я пропойца,

Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный

И мечтаю только лишь о том,

Чтоб скорее от тоски мятежной

Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви

По-весеннему наш белый сад.

Только ты меня уж на рассвете

Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечалось,

Не волнуй того, что не сбылось, —

Слишком раннюю утрату и усталость

Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!

К старому возврата больше нет.

Ты одна мне помощь и отрада,

Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,

Не грусти так шибко обо мне.

Не ходи так часто на дорогу

В старомодном ветхом шушуне.

<1924>

«Годы молодые с забубенной славой...»

Годы молодые с забубенной славой,

Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,

Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.

В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну – и вот слушаю на ощупь:

Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу.

«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!

Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели

Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»

Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.

Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки...

Забинтованный лежу на больничной койке.

И вместо лошадей по дороге тряской

Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.

Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,

Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, —

Синие твои глаза в кабаках промокли».

<1924>

«Мы теперь уходим понемногу...»

Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу

Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!

Ты, земля! И вы, равнин пески!

Перед этим сонмом уходящих

Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете

Все, что душу облекает в плоть.

Мир осинам, что, раскинув ветви,

Загляделись в розовую воду.

Много дум я в тишине продумал,

Много песен про себя сложил,

И на этой на земле угрюмой

Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,

Не звенит лебязьей шейей рожь.

Оттого пред сонмом уходящих

Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет

Этих нив, златящихся во мгле.

Оттого и дороги мне люди,

Что живут со мною на земле.

1924

Пушкину

Мечтая о могучем даре

Того, кто русской стал судьбой,

Стою я на Тверском бульваре,

Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,

В легендах ставший как туман,

О Александр! Ты был повеса,

Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы

Не затемнили образ твой,

И в бронзе выкованной славы

Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,

И говорю в ответ тебе:

Я умер бы сейчас от счастья,

Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,

Еще я долго буду петь...

Чтоб и мое степное пенье

Сумело бронзой прозвенеть.

<1924>

«Низкий дом с голубыми ставнями...»

Низкий дом с голубыми ставнями,

Не забыть мне тебя никогда, —

Слишком были такими недавними

Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится

Наше поле, луга и лес,

Принакрытые сереньким ситцем

Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею

И пропасть не хотел бы в глуши,

Но, наверно, навеки имею

Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей

С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.
Только видели березь, да цветь,
Да раakitник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.
Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.
Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

<1924>

Сукин сын

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.
Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.
Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.
Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.
Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.
Та собака давно околела,

Но в ту ж масть, что с отливом в синь,

С лаем ливисто ошалелым

Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!

Снова выплыла боль души.

С этой болью я будто моложе,

И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,

Но не лай ты! Не лай! Не лай!

Хочешь, пес, я тебя поцелую

За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом

И, как друга, введу тебя в дом...

Да, мне нравилась девушка в белом,

Но теперь я люблю в голубом.

<1924>

«Отговорила роца золотая...»

Отговорила роца золотая

Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,

Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.

О всех ушедших грезит конопляник

С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,

А журавлей относит ветер вдаль,

Я полон дум о юности веселой,

Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,

Не жаль души сиреневую цветь.

В саду горит костер рябины красной,

Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,

От желтизны не пропадет трава,

Как дерево роняет тихо листья,

Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,

Сгребет их все в один ненужный ком...

Скажите так... что роща золотая

Отговорила милым языком.

1924

Возвращение на родину

Я посетил родимые места,

Ту сельщину,

Где жил мальчишкой,

Где каланчой с березовою вышкой

Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,

В их бедном, неприглядном быте.

Какое множество открытий

За мною следовало по пятам.

Отцовский дом

Не мог я распознать:

Приметный клен уж под окном не машет,

И на крылечке не сидит уж мать,

Кормя цыплят крупитчатою кашей.

Стара, должно быть, стала...

Да, стара.

Я с грустью озираюсь на окрестность:

Какая незнакомая мне местность!

Одна, как прежняя, белеется гора,

Да у горы

Высокий серый камень.

Здесь кладбище!

Подгнившие кресты,

Как будто в рукопашной мертвецы,

Застыли с распростертыми руками.

По тропке, опершись на подожок,

Идет старик, сметая пыль с бурьяна.

«Прохожий!

Укажи, дружок,

Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна... Гм...

Да вон за той избой.

А ты ей что?

Сродни?

Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.

Но что, старик, с тобой?

Скажи мне,

Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,

Добро, что не узнал ты деда!..» —

«Ах, дедушка, ужели это ты?»

И полилась печальная беседа

Слезами теплыми на пыльные цветы.

.....

«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...

А мне уж девяносто...

Скоро в гроб.

Давно пора бы было воротиться.

Он говорит, а сам все морщит лоб.

«Да!.. Время!..

Ты не коммунист?»

«Нет!..» —

«А сестры стали комсомолки.

Такая гадость! Просто удавись!

Вчера иконы выбросили с полки,

На церкви комиссар снял крест.

Теперь и Богу негде помолиться:

Уж я хожу украдкой нынче в лес,

Молюсь осинам...

Может, пригодится...

Пойдем домой —

Ты все увидишь сам».

И мы идем, топча межой кукольні.

Я улыбаюсь пашням и лесам,

А дед с тоской глядит на колокольню.

.....

.....

«Здорово, мать! Здорово!» —

И я опять тяну к глазам платок.

Тут разрыдаться может и корова,

Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.

Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя, —
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...

Женщина с ребенком.

Уже никто меня не узнает.

По-байроновски наша собачонка

Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!

Не тот ты стал,

Не тот.

Да уж и я, конечно, стал не прежний.

Чем мать и дед грустней и безнадежней,

Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,

Я знаю мир...

Люблю мою семью...

Но отчего-то все-таки с поклоном

Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,

О Марксе,

Энгельсе...

Ни при какой погоде

Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,

Как шустрая девчонка

Меня во всем за шиворот берет...

.....

.....

По-байроновски наша собачонка

Меня встречала с лаем у ворот.

Июнь 1924

Русь Советская

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На переключке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница – бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.
Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».
Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.

Язык сограждан стал мне как чужой,

В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:

Воскресные сельчане

У волости, как в церковь, собрались.

Корявыми, нематыми речами

Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой

Закат обрызгал серые поля.

И ноги босые, как телки под ворота,

Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,

В воспоминаниях морщина лоб,

Рассказывает важно о Буденном,

О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его – и этак и разэтак, —

Буржуя энтого... которого... в Крыму...»

И клены морщатся ушами длинных веток,

И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,

И под гармонику, наяривая рьяно,

Поют агитки Бедного Демьяна,

Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!

Какого ж я рожна

Орал в стихах, что я с народом дружен?

Моя поэзия здесь больше не нужна,

Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!

Прости, родной приют.

Чем сослужил тебе – и тем уж я доволен.

Пускай меня сегодня не поют —

Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.

Как есть все принимаю.

Готов идти по выбитым следам.

Отдам всю душу Октябрю и Маю,

Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,

Ни матери, ни другу, ни жене.

Лишь только мне она свои вверяла звуки

И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!

У вас иная жизнь, у вас другой напев.

А я пойду один к неведомым пределам,

Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,

Когда во всей планете

Пройдет вражда племен,

Исчезнет ложь и грусть, —

Я буду воспевать

Всем существом в поэте

Шестую часть земли

С названьем кратким «Русь».

<1924>

Русь уходящая

Мы многое еще не сознаем,

Питомцы ленинской победы,

И песни новые

По-старому поем,

Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!

Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении веселом!

Знать, оттого так хочется и мне,

Здрав штаны,

Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,

Ну где же старикам

За юношами гнаться?

Они несжатой рожью на корню

Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам,

Не молодой, не старый,

Для времени навозом обречен.

Не потому ль кабацкий звон гитары

Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,

Звени, звени!

Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,

Чтоб я забыл отравленные дни,

Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,

И потому я на нее в обиде,

Что юность светлую мою

В борьбе других я не увидел.

Что видел я?

Я видел только бой

Да вместо песен

Слышал канонаду.

Не потому ли с желтой головой

Я по планете бегал до упаду?

Но все ж я счастлив.

В сонме бурь

Неповторимые я вынес впечатленья.

Вихрь нарядил мою судьбу

В золототканое цветенье.

Я человек не новый!

Что скрывать?

Остался в прошлом я одной ногою,

Стремясь догнать стальную рать,

Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.

Те

Еще несчастней и забытей.

Они, как отрубы в решетке,

Средь непонятных им событий.

Я знаю их

И подсмотрел:

Глаза печальнее коровьих.

Средь человеческих мирных дел,

Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?

Не троньте!

Будет запах смрада.

Они в самих себе умрут,

Истлеют падью листопада.

А есть другие люди,

Те, что верят,

Что тянут в будущее робкий взгляд.

Почесывая зад и перед,

Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,

О чем крестьянская судачит оголь.

«С Советской властью жить нам по нутрю...

Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...»

Как мало надо этим брадачам,

Чья жизнь в сплошном

Картофеле и хлебе.

Чего же я ругаюсь по ночам

На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,

Кто жизнь провел в бою,

Кто защищал великую идею.

А я, сгубивший молодость свою,

Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!

Какой большой скандал!

Я очутился в узком промежутке.

Ведь я мог дать

Не то, что дал,

Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,

Звени, звени!

Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,

Чтоб я забыл отравленные дни,

Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю, грусть не утопить в вине,

Не вылечить души

Пустыней и отколом.

Знать, оттого так хочется и мне,

Здрав штаны,

Бежать за комсомолом.

2 ноября 1924

Стансы

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте

Много знаю.

Стихи – не очень трудные дела.

Но более всего

Любовь к родному краю

Меня томила,

Мучила и жгла.

Стишок писнуть,

Пожалуй, всякий может —

О девушке, о звездах, о луне...

Но мне другое чувство

Сердце гложет,

Другие думы

Давят череп мне.

Хочу я быть певцом

И гражданином,

Чтоб каждому,

Как гордость и пример,

Был настоящим,

А не сводным сыном —

В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:

С милицией я ладить

Не в сноровке,

За всякий мой пивной скандал

Они меня держали

В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан сих,

Но очень жестко

Спать там на скамейке

И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.
Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.
Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветер, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.
Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.
Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.
«Смотри, — он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.

Довольно с нас мистических туманов,

Воспой, поэт,

Что крепче и живей».

Нефть на воде,

Как одеяло перса,

И вечер по небу

Рассыпал звездный куль.

Но я готов поклясться

Чистым сердцем,

Что фонари

Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустриальной мощи,

Я слышу голос человеческих сил.

Довольно с нас

Небесных всех светил —

Нам на земле

Устроить это прощѐ.

И, самого себя

По шее глядя,

Я говорю:

«Настал наш срок,

Давай, Сергей,

За Маркса тихо сядем,

Чтоб разгадать

Премудрость скучных строк».

<1924>

Ленин

Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»

Еще закон не отвердел,

Страна шумит, как непогода.

Хлестнула дерзко за предел

Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!

Душа сжимается от боли.

Уж сколько лет не слышит поле

Петушьѐ пеньѐ, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт

Утратил мирные глаголы.

Как оспой, ямами копыт

Изрыты пастбища и доли.

Немолчный топот, громкий стон,

Визжат тачанки и телеги.

Ужель я сплю и вижу сон,

Что с копьями со всех сторон

Нас окружают печенеги?

Не сон, не сон, я вижу въявь,

Ничем не усыпленным взглядом,

Как, лошадей пуская вплавь,

Отряды скачут за отрядом.

Куда они? И где война?

Степная водь не внемлет слову.

Не знаю, светит ли луна

Иль всадник обронил подкову?

Все спуталось...

Но понял взор:

Страну родную в край из края,

Огнем и саблями сверкая,

Междоусобный рвет раздор.

.....

Россия —

Страшный, чудный звон.

В деревьях березь, в цветь — подснежник.

Откуда закатился он,

Тебя встревоживший мятежник?

Суровый гений! Он меня

Влечет не по своей фигуре.

Он не садился на коня

И не летел навстречу буре.

Сплеча голов он не рубил,

Не обращал в побег пехоту.

Одно в убийстве он любил —

Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,

Мы любим тех, что в черных масках,

А он с сопливой детворой

Зимой катался на салазках.

И не носил он тех волос,

Что льют успех на женщин томных, —

Он с лысиною, как поднос,

Глядел скромней из самых скромных.

Застенчивый, простой и милый,

Он вроде сфинкса предо мной.

Я не пойму, какою силой

Сумел потрясть он шар земной?

Но он потряс...

Шуми и вей!

Крути свирепей, непогода,

Смывай с несчастного народа

Позор острогов и церквей.

.....

Была пора жестоких лет,

Нас пестовали злые лапы.

На поприще крестьянских бед

Цвели имперские сатрапы.

.....

Монархия! Зловещий смрад!

Веками шли пиры за пиром,

И продал власть аристократ

Промышленникам и банкирам.

Народ стонал, и в эту жуть

Страна ждала кого-нибудь...

И он пришел.

.....

Он мощным словом

Повел нас всех к истокам новым.

Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,

Берите всё в рабочьи руки.

Для вас спасенья больше нет —

Как ваша власть и ваш Совет».

.....

И мы пошли под визг метели,

Куда глаза его глядели:

Пошли туда, где видел он

Освобожденье всех племен...

.....

И вот он умер...

Плач досаден.

Не славят музы голос бед.

Из меднолающих громадин

Салют последний даден, даден.

Того, кто спас нас, больше нет.

Его уж нет, а те, кто вживе,

А те, кого оставил он,

Страну в бушующем разливе

Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:

«Ленин умер!»

Их смерть к тоске не привела.

.....

Еще суровой и угрюмой

Они творят его дела...

<1924>

Метель

Прядите, дни, свою былую пряжу,

Живой души не перестроить ввек.

Нет!

Никогда с собой я не полажу,

Себе, любимому,

Чужой я человек.

Хочу читать, а книга выпадает,

Долит зевота,

Так и клонит в сон...

А за окном

Протяжный ветер рыдает,

Как будто чуя

Близость похорон.

Облезлый клен

Своей верхушкой черной

Гнусавит хрипло

В небо о былом.

Какой он клен?

Он просто столб позорный —

На нем бы вешать

Иль отдать на слом.

И первого

Меня повесить нужно,

Скрестив мне руки за спиной:

За то, что песней

Хриплой и недужной

Мешал я спать

Стране родной.

Я не люблю

Распевы петуха

И говорю,

Что если был бы в силе,

То всем бы петухам

Я выдрал потроха,

Чтобы они

Ночью не голосили.

Но я забыл,

Что сам я петухом

Орал вовсю

Перед рассветом края,

Отцовские заветы попирая,

Волнуясь сердцем

И стихом.

Визжит метель,

Как будто бы кабан,

Которого зарезать собрались.

Холодный,

Ледяной туман,

Не разберешь,

Где даль,

Где близь...

Луну, наверное,

Собаки съели —

Ее давно

На небе не видать.

Выдергивая нитку из кудели,

С веретеном

Ведет беседу мать.

Оглохший кот

Внимает той беседе,

С лежанки свесив

Важную главу.

Недаром говорят

Пугливые соседи,

Что он похож

На черную сову.

Глаза смежаются.

И как я их прищурю,

То вижу въявь

Из сказочной поры:

Кот лапой мне

Показывает дулю,

А мать – как ведьма

С киевской горы.

Не знаю, болен я

Или не болен,

Но только мысли

Бродят невпопад.

В ушах могильный

Стук лопат

С рыданьем дальних

Колоколен.

Себя усопшего

В гробу я вижу

Под аллилуйные

Стенания дьячка.

Я веки мертвому себе

Спускаю ниже,

Кладя на них

Два медных пяточка.

На эти деньги,

С мертвых глаз,
Могильщику теплее станет, —
Меня зарыв,
Он тот же час
Себя сивухой остаканит.
И скажет громко:
«Вот чудак!
Он в жизни
Буйствовал немало...
Но одолеть не мог никак
Пяти страниц
Из «Капитала».
Декабрь 1924
Весна
Припадок кончен.
Грусть в опале.
Приемлю жизнь, как первый сон.
Вчера прочел я в «Капитале»,
Что для поэтов —
Свой закон.
Метель теперь
Хоть чертом вой,
Стучись утопленником голым, —
Я с отрезвевшей головой
Товарищ бодрым и веселым.
Гнилых нам нечего жалеть,
Да и меня жалеть не нужно,
Коль мог покорно умереть
Я в этой завирухе вьюжной.
Тинь-тинь, синица!
Добрый день!
Не бойся!
Я тебя не трону.
И коль угодно,
На плетень
Садись по птичьему закону.
Закон вращения в мире есть,

Он — отношенье

Средь живущих.

Коль ты с людьми единой кущи, —

Имеешь право

Лечь и сесть.

Привет тебе,

Мой бедный клен!

Прости, что я тебя обидел.

Твоя одежда в рваном виде,

Но будешь

Новой наделен.

Без ордера тебе апрель

Зеленую отпустит шапку,

И тихо

В нежную охапку

Тебя обнимет повитель.

И выйдет девушка к тебе,

Водой окатит из колодца,

Чтобы в суровом октябре

Ты мог с метелями бороться.

А ночью

Выплывет луна.

Ее не слопали собаки:

Она была лишь не видна

Из-за людской

Кровавой драки.

Но драка кончилась...

И вот —

Она своим лимонным светом

Деревьям, в зелень разодетым,

Сиянье звучное

Польет.

Так пей же, грудь моя,

Весну!

Волнуйся новыми

Стихами!

Я нынче, отходя ко сну,

Не поругаюсь

С петухами.

Земля, земля!

Ты не металл, —

Металл ведь

Не пускает почку.

Достаточно попасть

На строчку,

И вдруг —

Понятен «Капитал».

Декабрь 1924

Письмо к женщине

Вы помните,

Вы всё, конечно, помните,

Как я стоял,

Приблизившись к стене,

Взволнованно ходили вы по комнате

И что-то резкое

В лицо бросали мне.

Вы говорили:

Нам пора расстаться,

Что вас измучила

Моя шальная жизнь,

Что вам пора за дело приниматься,

А мой удел —

Катиться дальше, вниз.

Любимая!

Меня вы не любили.

Не знали вы, что в сонмище людском

Я был, как лошадь, загнанная в мыле,

Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,

Что я в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь, что не пойму —

Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу

Лица не увидеть.

Большое видится на расстоянии.

Когда кипит морская гладь,

Корабль в плачевном состоянии.

Земля – корабль!

Но кто-то вдруг

За новой жизнью, новой славой

В прямую гуцу бурь и вьюг

Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я

Под дикий шум,

Но зрело знающий работу,

Спустился в корабельный трюм,

Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —

Русским кабаком.

И я склонился над стаканом,

Чтоб, не страдая ни о ком,

Себя сгубить

В угаре пьяном.

Любимая!

Я мучил вас,

У вас была тоска

В глазах усталых:

Что я пред вами напоказ

Себя растрчивал в скандалах.

Но вы не знали,

Что в сплошном дыму,

В развороченном бурей быте

С того и мучаюсь,

Что не пойму,

Куда несет нас рок событий...

.....

Теперь года прошли,

Я в возрасте ином.

И чувствую и мыслю по-иному.

И говорю за праздничным вином:

Хвала и слава рулевому!

Сегодня я

В ударе нежных чувств.

Я вспомнил вашу грустную усталость.

И вот теперь

Я сообщить вам мчусь,

Каков я был

И что со мною случилось!

Любимая!

Сказать приятно мне:

Я избежал паденья с кручи.

Теперь в Советской стороне

Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,

Кем был тогда.

Не мучил бы я вас,

Как это было раньше.

За знамя вольности

И светлого труда

Готов идти хоть до Ла-Манша.

Простите мне...

Я знаю: вы не та —

Живете вы

С серьезным, умным мужем;

Что не нужна вам наша маета,

И сам я вам

Ни капельки не нужен.

Живите так,

Как вас ведет звезда,

Под кущей обновленной сени.

С приветствием,

Вас помнящий всегда

Знакомый ваш

Сергей Есенин.

<1924>

«Синий май. Заревая теплынь...»

Синий май. Заревая теплынь.

Не прозвякнет кольцо у калитки.

Липким запахом веет полынь.

Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна

Вместе с рамами в тонкие шторы

Вяжет взбалмошная луна

На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,

Но чиста. Я с собой на досуге...

В этот вечер вся жизнь мне мила,

Как приятная память о друге.

Сад польщит, как пенный пожар,

И луна, напрягая все силы,

Хочет так, чтобы каждый дрожал

От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,

Под тальянку веселого мая,

Ничего не могу пожелать,

Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю – приди и явись,

Все явись, в чем есть боль и отрада...

Мир тебе, отшумевшая жизнь.

Мир тебе, голубая прохлада.

1925

Собаке Качалова

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду.

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.

Пойми со мной хоть самое простое.

Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,

Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,

И у него гостей бывает в доме много,

И каждый, улыбаясь, норовит

Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,

С такою милою доверчивой приятцей.

И, никого ни капли не спросив,

Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей

Так много всяких и невсяких было.

Но та, что всех безмолвней и грустней,

Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.

И без меня, в ее уставясь взгляд,

Ты за меня лизни ей нежно руку

За все, в чем был и не был виноват.

1925

«Несказанное, синее, нежное...»

Несказанное, синее, нежное...

Тих мой край после бурь, после гроз,

И душа моя – поле безбрежное —

Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,

Но того, что прошло, не кляню.

Словно тройка коней оголтелая

Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.

И пропали под дьявольский свист.

А теперь вот в лесной обители

Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?

Все спокойно впивает грудь.

Стой, душа, мы с тобой проехали

Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,

Что случилось, что стало в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,

Только жаль на тридцатом году —

Слишком мало я в юности требовал,

Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,

Так же гнется, как в поле трава...

Эх ты, молодость, буйная молодость,

Золотая сорвиголова!

1925

Песня

Есть одна хорошая песня у соловушки —

Песня панихидная по моей головушке.

Цвела – забубенная, росла – ножевая,

А теперь вдруг свесилась, словно неживая

.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.

Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-стало, сам не понимаю.

Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.

В темноте мне кажется – обнимаю милую.

За окном гармоника и сиянье месяца.

Только знаю – милая никогда не встретится.

Эх, любовь-калинушка, кровь – заря вишневая,

Как гитара старая и как песня новая.

С теми же улыбками, радостью и муками,

Что певалось дедами, то поется внуками.

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —

Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?

В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,

Песня панихидная по моей головушке.

Цвела – забубенная, была – ножевая,

А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

1925

«Заря окликает другую...»

Заря окликает другую,

Дымится овсяная гладь...

Я вспомнил тебя, дорогую,

Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,

Костыль свой сжимая в руке,

Ты смотришь на лунный опорок,

Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,

С тревогой и грустью большой,

Что сын твой по отчему краю

Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста

И, в камень уставясь в упор,

Вздыхаешь так нежно и просто

За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,

А сестры росли, как май,

Ты все же глаза живые

Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!

И время тебе подсмотреть,

Что яблоне тоже больно

Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,

Как вешняя звень поутру,

И мне – чем сгнивать на ветках —

Уж лучше сгореть на ветру.

<1925>

«Прощай, Баку! Тебя я не увижу...»

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.

Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.

И сердце под рукой теперь больней и ближе,

И чувствую сильнее простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!

Хладдеет кровь, ослабевают силы.

Но донесу, как счастье, до могилы

И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!

В последний раз я друга обниму...

Чтоб голова его, как роза золотая,

Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Май 1925

«Неуютная жидкая лунность...»

Неуютная жидкая лунность

И тоска бесконечных равнин, —

Вот что видел я в резвую юность,

Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы

И тележная песня колес...

Ни за что не хотел я теперь бы,

Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,

И очажный огонь мне не мил,

Даже яблонь весеннюю вьюгу

Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное.

И в чахоточном свете луны

Через каменное и стальное

Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно

Волочиться сохой по полям!

Нищету свою видеть больно

И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...

Может, в новую жизнь не гожусь,

Но и все же хочу я стальною

Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю

В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,

Ни за что я теперь не желаю

Слушать песню тележных колес.

<1925>

«Спит ковыль. Равнина дорогая...»

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не воьлет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси?
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревёнчатой избы.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925

«Над окошком месяц. Под окошком ветер...»

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.
Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?
Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Август 1925

«Каждый труд благослови, удача!..»

Каждый труд благослови, удача!

Рыбаку – чтоб с рыбой невода,

Пахарю – чтоб плуг его и кляча

Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,

Из кувшинок также можно пить —

Там, где омут розовых туманов

Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой

И, впиваясь в призрачную гладь,

Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,

На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели...

Потому так и светлы всегда

Те, что в жизни сердцем опростели

Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,

И теперь рассказываю сам,

Соглядатай праздный, я ль не странен

Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,

Словно кто-то к родине отвык,

И с того, поднявшись над болотом,

В душу плачут чибис и кулик.

12 июля 1925

«Я иду долиной. На затылке кепи...»

Я иду долиной. На затылке кепи,

В лайковой перчатке смуглая рука.

Далеко сияют розовые степи,

Широко синее тихая река.

Я – беспечный парень. Ничего не надо.

Только б слушать песни – сердцем подпевать,

Только бы струилась легкая прохлада,

Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы, —

Сколько там нарядных мужиков и баб!

Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.

«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.

Как ты любишь долы, так бы труд любил.

Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?

Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —

Но косою выводят строчки хоть куда.

Под весенним солнцем, под весенней тучкой

Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.

Что же, дайте косу, я вам покажу —

Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман

Выводить по долам травяные строчки,

Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках – песня, в этих строчках – слово.

Потому и рад я в думах ни о ком,

Что читать их может каждая корова,

Отдавая плату теплым молоком.

18 июля 1925

«Видно, так заведено навеки...»

Видно, так заведено навеки —

К тридцати годам перебежась,

Все сильней, прожженные калеки,

С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет тридцать,

И земля милей мне с каждым днем.

Оттого и сердцу стало сниться,

Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,

И недаром в липовую цветь

Вынул я кольцо у попугая —

Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.

Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.
В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?
Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного, глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.
Ну, и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

14 июля 1925

«Я помню, любимая, помню...»

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.
Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».
Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.
И сердце, остыть не готовясь
И грустно другую любя,
Как будто любимую повесть
С другой вспоминает тебя.

<1925>

«Жизнь – обман с чарующей тоскою...»

Жизнь – обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письма.
Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь – обман, но и она порою
Украшает радостями ложь.
Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе».
Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь – стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.
Пусть меня ласкают нежным словом,
Пусть острее бритвы злой язык, —
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.
Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклись,
Кем я жил – забыли про меня.
Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.

17 августа 1925

«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..»

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.
Пусть она услышит, пусть она поплачет.
Ей чужая юность ничего не значит.

Ну, а если значит – проживет не мучась.

Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.

Все равно не будет то, что было раньше.

За былую силу, гордость и осанку

Только и осталась песня под тальянку.

8 сентября 1925

«Я красивых таких не видел...»

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,

Только, знаешь, в душе затаю

Не в плохой, а в хорошей обиде —

Повторяешь ты юность мою.

Ты – мое васильковое слово,

Я навеки люблю тебя.

Как живет теперь наша корова,

Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,

Исцеляй меня детским сном.

Отгорела ли наша рябина,

Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?

Я навеки покинул село,

Только знаю – багряной метелью

Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе

Вместо ласки и вместо слез

У ворот, как о сгибшей невесте,

Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,

Потому и достался не в срок,

Как любовь, как печаль и отрада,

Твой красивый рязанский платок.

13 сентября 1925

«Ах, как много на свете кошек...»

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.
Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.
Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.
Все прошло. Потерял я бабу,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.
13 сентября 1925
«Ты запой мне ту песню, что прежде...»

Сестре Шуре

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать.
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.
Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь —
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.
Ты мне пой, ну, а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою —
Вижу вновь дорогие черты.
Ты мне пой. Ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин.
Ты мне пой, ну, а я припомню

И не буду забывчиво хмур:

Так приятно и так легко мне

Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы

Полюбил у березки стан,

И ее золотистые косы,

И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко —

Мне за песнею и за вином

Показалась ты той березкой,

Что стоит под родимым окном.

13 сентября 1925

«В этом мире я только прохожий...»

Сестре Шуре

В этом мире я только прохожий,

Ты махни мне веселой рукой.

У осеннего месяца тоже

Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,

В первый раз от прохлады согрет,

И опять и живу и надеюсь

На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,

Посоленная белью песка,

И измятая чья-то невинность,

И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,

Что любить не отдельно, не врозь —

Нам одною любовью с тобою

Эту родину привелось.

13 сентября 1925

«Эх вы, сани! А кони, кони!..»

Эх вы, сани! А кони, кони!

Видно, черт их на землю принес.

В залихватском степном разгоне

Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая

Вдалеке, в стороне, в пустыре.

Поддержись, моя жизнь удалая,

Я ещё не навек постарел.

Пой, ямщик, вперекор этой ночи, —

Хочешь, сам я тебе подпою

Про лукавые девичьи очи,

Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломишь шапку,

Да заложишь в оглобли коня,

Да приляжешь на сена охапку, —

Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка,

А в полуночную тишину

Разговорчивая тальянка

Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.

Конь издох, опустел наш двор.

Потеряла тальянка голос,

Разучившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла,

Так приятны мне снег и мороз,

Потому что над всем, что было,

Колокольчик хохочет до слез.

19 сентября 1925

«Снежная замять дробится и колется...»

Снежная замять дробится и колется,

Сверху озябшая светит луна.

Снова я вижу родную околицу,

Через метель огонек у окна.

Все мы бездомники, много ли нужно нам.

То, что далось мне, про то и пою.

Вот я опять за родительским ужином,

Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезятся,

Тихо, безмолвно, как будто без мук.

Хочет за чайную чашку взяться —

Чайная чашка скользит из рук.

Милая, добрая, старая, нежная,
С думами грустными ты не дружись,
Слушай – под эту гармонику снежную
Я расскажу про свою тебе жизнь.
Много я видел, и много я странствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянствовал,
Что лучше тебя никого не видал.
Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший удел.
А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне – осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.

20 сентября 1925

«Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся...»

Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся.

Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,

По равнине голой катится бубенчик.

Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!

Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим – что такое?

И станцуем вместе под тальянку трое.

3 октября 1925

«Синий туман. Снеговое раздолье...»

Синий туман. Снеговое раздолье,

Тонкий лимонный лунный свет.

Сердцу приятно с тихой болью

Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца как песок зыбучий.

Вот при такой же луне без слов,

Шапку из кошки на лоб нахлобучив,

Тайно покинул я отчий кров.

Снова вернулся я в край родимый.

Кто меня помнит? Кто позабыл?

Грустно стою я, как странник гонимый, —

Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,

Не по душе мне соболий мех.

Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабу,

Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,

Как в этой жизни радей не радей, —

Вот почему так тянусь я к людям,

Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал

И, улыбаясь, душой погас, —

Эту избу на крыльце с собакой

Словно я вижу в последний раз.

24 сентября 1925

«Мелколесье. Степь и дали...»

Мелколесье. Степь и дали.

Свет луны во все концы.

Вот опять вдруг зарыдали

Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!

Звоны мерзлые осин.

У меня отец – крестьянин,

Ну, а я – крестьянский сын.

Наплевать мне на известность

И на то, что я поэт.

Эту чахленькую местность

Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,

Если с венкой в стынъ и звень

Будет рядом веселиться

Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава

Пропадала трын-травой.

21/22 октября 1925

«Цветы мне говорят – прощай...»

Цветы мне говорят – прощай,

Головками склоняясь ниже,

Что я навеки не увижу

Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!

Я видел их и видел землю

И эту гробовую дрожь

Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг

Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —

Я говорю на каждый миг,

Что все на свете повторимо.

Не все ль равно – придет другой;

Печаль ушедшего не сгложет,

Оставленной и дорогой

Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,

Любимая с другим любимым,

Быть может, вспомнит обо мне

Как о цветке неповторимом.

27 октября 1925

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...»

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,

Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?

Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,

Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,

Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,

Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,

Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,

Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925

«Какая ночь! Я не могу...»

Какая ночь! Я не могу.

Не спится мне. Такая лунность.

Еще как будто берегу

В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,

Не называй игру любовью,

Пусть лучше этот лунный свет

Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты

Он обрисовывает смело, —

Ведь разлюбить не сможешь ты,

Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.

Вот оттого ты мне чужая,

Что липы тщетно манят нас,

В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,

Что в этот отсвет лунный, синий

На этих липах не цветы —

На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,

Ты не меня, а я — другую,

И нам обоим все равно

Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай

В лукавой страсти поцелуя,

Пусть сердцу вечно снится май

И та, что навсегда люблю я.

30 ноября 1925

«Ты меня не любишь, не жалеешь...»

Ты меня не любишь, не жалеешь,

Разве я немного не красив?

Не смотря в лицо, от страсти млеешь,

Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,

Я с тобой не нежен и не груб.

Расскажи мне, скольких ты ласкала?

Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я – они прошли, как тени,

Не коснувшись твоего огня,

Многим ты садилась на колени,

А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи

И ты думаешь о ком-нибудь другом,

Я ведь сам люблю тебя не очень,

Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,

Легкодумна вспыльчивая связь, —

Как случайно встретился с тобою,

Улыбнусь, спокойно разойдись.

Да и ты пойдешь своей дорогой

Распылять безрадостные дни,

Только нецелованных не трогай,

Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку

Ты пройдешь, болтая про любовь,

Может быть, я выйду на прогулку,

И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи

И немного наклонившись вниз,

Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер!»

Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,

И ничто ее не бросит в дрожь, —

Кто любил, уж тот любить не может,

Кто сгорел, того не подожжешь.

4 декабря 1925

«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...»

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Синь очей утративший во мгле,

Эту жизнь прожил я словно кстати,

Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,

Потому что многих целовал,

И, как будто зажигая спички,

Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навек»,

А в душе всегда одно и то ж,

Если тронуть страсти в человеке,

То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко

Не желать, не требовать огня,

Ты, моя ходячая березка,

Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную

И томясь в неласковом плену,

Я тебя нисколько не ревную,

Я тебя нисколько не кляню.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,

Синь очей утративший во мгле,

И тебя любил я только кстати,

Заодно с другими на земле.

<1925>

«До свиданья, друг мой, до свиданья...»

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, —

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

<1925>

Персидские мотивы

1924–1925

«Улеглась моя былая рана...»

Улеглась моя былая рана —

Пьяный бред не гложет сердце мне.

Синими цветами Тегерана

Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,

Чтобы славилась пред русским чайхана,

Угощает меня красным чаем

Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.

Много роз цветет в твоём саду.

Незадаром мне мигнули очи,

Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних

На цепи не держим, как собак,

Поцелуям учимся без денег,

Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенья стана,

Что лицом похожа на зарю,

Подарю я шаль из Хороссана

И ковер шirazский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,

Я тебе вовеки не солгу.

За себя я нынче отвечаю,

За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,

Все равно калитка есть в саду...

Незадаром мне мигнули очи,

Приоткинув черную чадру.

1924

«Я спросил сегодня у менялы...»

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?
Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?
И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?
И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.
Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.
От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты – моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Потому, что я с севера, что ли,

Я готов рассказать тебе поле,

Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,

Что луна там огромней в сто раз,

Как бы ни был красив Шираз,

Он не лучше рязанских раздолий.

Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,

Эти волосы взял я у ржи,

Если хочешь, на палец вяжи —

Я нисколько не чувствую боли.

Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне

По кудрям ты моим догадайся.

Дорогая, шути, улыбайся,

Не буди только память во мне

Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Там, на севере, девушка тоже,

На тебя она страшно похожа,

Может, думает обо мне...

Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

«Ты сказала, что Саади...»

Ты сказала, что Саади

Целовал лишь только в грудь.

Подожди ты, Бога ради,

Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Евфратом

Розы лучше смертных дев».

Если был бы я богатым,

То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,

Ведь одна отрада мне —

Чтобы не было на свете

Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,

У меня заветов нет.

Коль родился я поэтом,

То целуюсь, как поэт.

19 декабря 1924

«Никогда я не был на Босфоре...»

Никогда я не был на Босфоре,

Ты меня не спрашивай о нем.

Я в твоих глазах увидел море,

Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,

Не возил я шелк туда и хну.

Наклонись своим красивым станом,

На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,

Для тебя навеки дела нет,

Что в далеком имени – Россия —

Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,

При луне собачий слышу лай.

Разве ты не хочешь, персиянка,

Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки —

Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебязьи руки
Обвивали, словно два крыла.
Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляню,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.
Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.
И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумую о нем.

Все равно – глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

21 декабря 1924

«Свет вечерний шафранного края...»

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.

Тихо розы бегут по полям.
Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.

Лунным светом Шираз осиянен.
Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.
Даже все некрасивое в роке

Осентяет своя благодать.

Потому и прекрасные щеки

Перед миром грешно закрывать,

Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.

Сердцу снится страна другая.

Я спою тебе сам, дорогая,

То, что сроду не пел Хаям...

Тихо розы бегут по полям.

1924

«Воздух прозрачный и синий...»

Воздух прозрачный и синий,

Выйду в цветочные чаши.

Путник, в лазурь уходящий,

Ты не дойдешь до пустыни.

Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,

Садом – в цветенье диком,

Ты не удержишься взглядом,

Чтоб не припасть к гвоздикам.

Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелест —

Нежность, как песни Саади.

Вмиг отразится во взгляде

Месяца желтая прелесть,

Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,

Тихий, как флейта Гассана.

В крепких объятиях стана

Нет ни тревог, ни потери,

Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный

Всех, кто в пути устали.

Ветер благоуханный

Пью я сухими устами,

Ветер благоуханный.

<1925>

«Золото холодное луны...»

Золото холодное луны,

Запах олеандра и левкоя.

Хорошо бродить среди покоя

Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,

Где жила и пела Шахразада.

Но теперь ей ничего не надо.

Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли

Поросли кладбищенской травой.

Ты же, путник, мертвым не внемли,

Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:

Губы к розам так и тянет, тянет.

Помирись лишь в сердце со врагом —

И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж влюбляться,

В лунном золоте целуйся и гуляй,

Если ж хочешь мертвым поклоняться,

То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —

Так вторично скажет листьям медь.

Тех, которым ничего не надо,

Только можно в мире пожалеть.

<1925>

«В Хороссане есть такие двери...»

В Хороссане есть такие двери,

Где обсыпан розами порог.

Там живет задумчивая пери.

В Хороссане есть такие двери,

Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,

В волосах есть золото и медь.

Голос пери нежный и красивый.

У меня в руках довольно силы,

Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.

И зачем? Кому мне песни петь? —

Если стала неревнивой Шага,

Коль дверей не смог я отпереть,

Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.

Персия! Тебя ли покидаю?

Навсегда ль с тобою расстанусь

Из любви к родимому мне краю?

Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

Март 1925

«Голубая родина Фирдуси...»

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом уресе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.
Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.
Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.
Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.
Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...

Март 1925

«Быть поэтом – это значит то же...»

Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,

Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом – значит петь раздолье,

Чтобы было для тебя известней.

Соловей поет – ему не больно,

У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —

Жалкая, смешная побрякушка.

Миру нужно песенное слово

Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в Коране,

Запрещая крепкие напитки,

Потому поэт не перестанет

Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,

А любимая с другим лежит на ложе,

Влагою живительной хранимый,

Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,

Будет вслух насвистывать до дома:

«Ну и что ж, помру себе бродягой,

На земле и это нам знакомо».

Август 1925

«Руки милой – пара лебедей...»

Руки милой – пара лебедей —

В золоте волос моих ныряют.

Все на этом свете из людей

Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко

И теперь пою про то же снова,

Потому и дышит глубоко

Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,

Сердце станет глыбой золотою,

Только тегеранская луна

Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить:

Догореть ли в ласках милой Шаги

Иль под старость трепетно тужить

О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:

Что приятно уху, что – для глаза.

Если перс слагает плохо песнь,

Значит, он вовек не из Ширази.

Про меня же и за эти песни

Говорите так среди людей:

Он бы пел нежнее и чудесней,

Да сгубила пара лебедей.

Август 1925

«Отчего луна так светит тускло...»

«Отчего луна так светит тускло

На сады и стены Хороссана?

Словно я хожу равниной русской

Под шуршащим пологом тумана», —

Так спросил я, дорогая Лала,

У молчащих ночью кипарисов,

Но их рать ни слова не сказала,

К небу гордо головы завывив.

«Отчего луна так светит грустно?» —

У цветов спросил я в тихой чаще,

И цветы сказали: «Ты почувствуй

По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,

Лепестками тайно мне сказала:

«Шаганэ твоя с другим ласкалась,

Шаганэ другого целовала.

Говорила: «Русский не заметит...

Сердцу – песнь, а песне – жизнь и тело...»

Оттого луна так тускло светит,

Оттого печально побледнела.

Слишком много виделось измены,

Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.

.....

Но и все ж вовек благословенны

На земле сиреневые ночи.

Август 1925

«Глупое сердце, не бойся!..»

Глупое сердце, не бойся!

Все мы обмануты счастьем,

Нищий лишь просит участия...

Глупое сердце, не бойся.

Месяца желтые чары

Льют по каштанам в пролесь.

Лале склонясь на шальвары,

Я под чадрую укроюсь.

Глупое сердце, не бойся.

Все мы порою, как дети,

Часто смеемся и плачем:

Выпали нам на свете

Радости и неудачи.

Глупое сердце, не бойся.

Многие видел я страны,

Счастья искал повсюду,

Только удел желанный

Больше искать не буду.

Глупое сердце, не бойся.

Жизнь не совсем обманула.

Новой напьемся силой.

Сердце, ты хоть бы заснуло

Здесь, на коленях у милой.

Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит

Рок, что течет лавиной,

И на любовь ответит

Песнею соловьиной.

Глупое сердце, не бойся.

Август 1925

«Голубая да веселая страна...»

Голубая да веселая страна.

Честь моя за песню продана.

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —

Эта песня в сердце отзовется.

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Ты – ребенок, в этом спора нет,

Да и я ведь разве не поэт?

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.

Много роз бывает на пути,

Много роз склоняется и гнется,

Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе. Ты и я.

За такие милые края.

Ветер с моря, тише дуй и вей —

Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.

Пусть вся жизнь моя за песню продана,

Но за Гелию в тенях ветвей

Обнимает розу соловей.

8 апреля 1925

«Море голосов воробьиных...»

Море голосов воробьиных.

Ночь, а как будто ясно,

Так ведь всегда прекрасно.

Ночь, а как будто ясно,

И на устах невинных

Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое

Светит – хоть кинься в воду.

Я не хочу покоя

В синюю эту погоду.

Ах, у луны такое

Светит – хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?

Эти уста не устали.

Эти уста, как в струях,

Жизнь утолят в поцелуях.

Милая, ты ли? та ли?

Розы ль мне то нашептали?

Сам я не знаю, что будет.

Близко, а может, гдей-то

Плачет веселая флейта.

В тихом вечернем гуде

Чту я за лилии груди.

Плачет веселая флейта,

Сам я не знаю, что будет.

<1925>

Поэмы

Пугачев

Анатолию Мариенгофу

Появление Пугачева в Яицком городке

ПУГАЧЕВ

Ох, как устал и как болит нога!..
Ржет дорога в жуткое пространство.
Ты ли, ты ли, разбойный Чаган,
Приют дикарей и оборванцев?
Мне нравится степей твоих медь
И пропахшая солью почва.
Луна, как желтый медведь,
В мокрой траве ворочается.
Наконец-то я здесь, здесь!
Рать врагов цепью волн распалась,
Не удалось им на осиноый шест
Водрузить головы моей парус.
Яик, Яик, ты меня звал
Стоном придавленной черни!
Пучились в сердце жабы глаза
Грустящей в закат деревни.
Только знаю я, что эти избы —
Деревянные колокола,
Голос их ветер хмарью съел.
О, помоги же, степная мгла,
Грозно свершить мой замысел!
СТОРОЖ

Кто ты, странник? Что бродишь долом?
Что тревожишь ты ночи гладь?
Отчего, словно яблоко тяжелое,
Виснет с шеи твоя голова?

ПУГАЧЕВ

В солончаковое ваше место
Я пришел из далеких стран, —
Посмотреть на золото телесное,

На родное золото славян.

Слушай, отче! Расскажи мне нежно,

Как живет здесь мудрый наш мужик?

Так же ль он в полях своих прилежно

Цедит молоко соломенное ржи?

Так же ль здесь, сломав зари застенки,

Гонится овес на водопой рысцой,

И на грядках, от капусты пенных,

Челноки ныряют огурцов?

Так же ль мирен труд домохозяек,

Слышен прялки ровный разговор?

СТОРОЖ

Нет, прохожий! С этой жизнью Яик

Раздружился с самых давних пор.

С первых дней, как оборвались вожжи,

С первых дней, как умер третий Петр,

Над капустой, над овсом, над рожью

Мы задаром проливаем пот.

Нашу рыбу, соль и рынок,

Чем сей край богат и рьян,

Отдала Екатерина

Под надзор своих дворян.

И теперь по всем окраинам

Стонет Русь от цепких лапиц

Воском жалоб сердце Каина

К состраданью не окапишь.

Всех связали, всех вневолиты,

С голоду хоть жри железо.

И течет заря над полем

С горла неба перерезанного.

ПУГАЧЕВ

Невеселое ваше житье!

Но скажи мне, скажи,

Неужель в народе нет суровой хватки

Вытащить из сапогов ножи

И всадить их в барские лопатки?

СТОРОЖ

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрал.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы,
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.
Так и мы! Вросли ногами крови в избы,
Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.
Но теперь как будто пробудились,
И березами заплаканный наш тракт
Окружает, как туман от сырости,
Имя мертвого Петра.

ПУГАЧЕВ

Как Петра? Что ты сказал, старик?

.....

Иль это взвыли в небе облака?

СТОРОЖ

Я говорю, что скоро грозный крик,
Который избы словно жаб влакал,
Сильней громов раскатится над нами.
Уже мятеж вздымает паруса.
Нам нужен тот, кто б первый бросил камень.

ПУГАЧЕВ

Какая мысль!

СТОРОЖ

О чем вздыхаешь ты?

ПУГАЧЕВ

Я положил себе зарок молчать до срока.

.....

Клещи рассвета в небесах

Из пасти темноты

Выдергивают звезды, словно зубы,

А мне еще нигде вздремнуть не удалось.

СТОРОЖ

Я мог бы предложить тебе

Тюфяк свой грубый,

Но у меня в дому всего одна кровать,

И четверо на ней спит ребятишек.

ПУГАЧЕВ

Благодарю! Я в этом граде гость.

Дадут приют мне под любую крышей.

Прощай, старик!

СТОРОЖ

Храни тебя Господь!

.....

.....

Русь, Русь! И сколько их таких,

Как в решето просеивающих плоть,

Из края в край в твоих просторах шляется?

Чей голос их зовет,

Вложив светильником им посох в пальцы?

Идут они, идут! Зеленый славя гул,

Купая тело в ветре и в пыли,

Как будто кто сослал их всех на каторгу

Вертеть ногами

Сей шар земли.

Но что я вижу?

Колокол луны скатился ниже,

Он, словно яблоко увянувшее, мал.

Благовест лучей его стал глух.

Уж на нашесте громко заиграл

В куриную гармонику петух.

Бегство калмыков

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

Послушайте, послушайте, послушайте,

Вам не снился тележный свист?

Нынче ночью на заре жидкой

Тридцать тысяч калмыцких кибиток

От Самары проползло на Иргис.

От российской чиновничьей неволи,

Оттого что, как куропаток, их щипали

На наших лугах,

Потянулись они в свою Монголию

Стадом деревянных черепах.

ВТОРОЙ ГОЛОС

Только мы, только мы лишь медлим,

Словно страшен нам захлестнувший нас

шквал.

Оттого-то шлет нам каждую неделю

Приказы свои Москва.

Оттого-то, куда бы ни шел ты,

Видишь, как под усмирителей меч

Прыгают кошками желтыми

Казацкие головы с плеч.

КИРПИЧНИКОВ

Внимание! Внимание! Внимание!

Не будьте ж трусливы, как овцы,

Сюда едут на страшное дело вас сманивать

Траубенберг и Тамбовцев.

КАЗАКИ

К черту! К черту предателей!

.....

ТАМБОВЦЕВ

Сми-ирно-о!

Сотники казачьих отрядов,

Готовьтесь в поход!

Нынче ночью, как дикие звери,

Калмыки всем скопом орд

Изменили Российской империи

И угнали с собой весь скот.

Потопленную лодку месяца

Чаган выплескивает на берег дня.

Кто любит свое отечество,

Тот должен слушать меня.

Нет, мы не можем, мы не можем,

мы не можем

Допустить сей ущерб стране:

Россия лишилась мяса и кожи,

Россия лишилась лучших коней.

Так бросимтесь же в погоню

На эту монгольскую мразь,

Пока она всеми ладонями

Китаю не предалась.

КИРПИЧНИКОВ

Стой, атаман, довольно

Об ветер язык чесать.

За Россию нам, конечно, больно,

Оттого что нам Россия – мать.

Но мы ничуть, мы ничуть не испугались,

Что кто-то покинул наши поля,

И калмык нам не желтый заяц,

В которого можно, как в пищу, стрелять.

Он ушел, этот смуглый монголец,

Дай же Бог ему добрый путь.

Хорошо, что от наших околиц

Он без боли сумел повернуть.

ТРАУБЕНБЕРГ

Что это значит?

КИРПИЧНИКОВ

Это значит то,
Что, если б
Наши избы были на колесах,
Мы впрягли бы в них своих коней
И гужом с солончаковых плесов
Потянулись в золото степей.
Наши б кони, длинно выгнув шеи,
Стадом черных лебедей
По во?дам ржи
Понесли нас, буйно хорошея,
В новый край, чтоб новой жизнью жить.

КАЗАКИ

Замучили! Загрызли, прохвосты!

ТАМБОВЦЕВ

Казак! Вы целовали крест!

Вы клялись...

КИРПИЧНИКОВ

Мы клялись, мы клялись Екатерине

Быть оплотом степных границ,

Защищать эти пастбища синие

От налета разбойных птиц.

Но скажите, скажите, скажите,

Разве эти птицы не вы?

Наших пашен суровых житель

Не найдет, где прикрыть головы.

ТРАУБЕНБЕРГ

Это измена!..

Связать его! Связать!

КИРПИЧНИКОВ

Казак, час настал!

Приветствую тебя, мятеж свирепый!

Что не могли в словах сказать уста,

Пусть пулями расскажут пистолеты.

(Стреляет.)

Траубенберг падает мертвым. Конвойные разбегаются. Казаки хватают лошадь Тамбовцева под уздцы и стаскивают его на землю.

ГОЛОСА

Смерть! Смерть тирану!

ТАМБОВЦЕВ

О Господи! Ну что я сделал?

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

Мучил, злодей, три года,

Три года, как коршун белый,

Ни проезда не давал, ни прохода.

ВТОРОЙ ГОЛОС

Откушай похлебки метелицы.

Отгулял, отстегал и отхвастал.

ТРЕТИЙ ГОЛОС

Черта ли с ним канителиться?

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОС

Повесить его – и баста!

КИРПИЧНИКОВ

Пусть знает, пусть слышит Москва —

На расправы ее мы взбыстрим.

Это только лишь первый раскат,

Это только лишь первый выстрел.

Пусть помнит Екатерина,

Что если Россия – пруд,

То черными лягушками в тину

Пушки мечут стальную икру.

Пусть носится над страной,

Что казак не ветла на прогоне

И в луны мешок травяной

Он башку незадаром сронит.

Осенней ночью

КАРАБАЕВ

Тысячу чертей, тысячу ведьм и тысячу дьяволов!

Экий дождь! Экий скверный дождь!

Скверный, скверный!

Словно вонючая моча волон

Льется с туч на поля и деревни.

Скверный дождь!

Экий скверный дождь!

Как скелеты тощих журавлей,

Стоят ошипанные вербы,

Плавя ребер медь.

Уж золотые яйца листьев на земле

Им деревянным брюхом не согреть,

Не вывести птенцов – зеленых вербенят,

По горлу их скользнул сентябрь, как нож,

И кости крыл ломает на щебняк

Осенний дождь.

Холодный, скверный дождь!

О осень, осень!

Голые кусты,

Как оборванцы, мокнут у дорог.

В такую непогодь собаки, сжав хвосты,

Боятся головы просунуть за порог,

А тут вот стой, хоть сгинь,

Но тьму глазами ешь,

Чтоб не пробрался вражеский лазутчик.

Проклятый дождь!

Расправу за мятеж

Напоминают мне рыгающие тучи.

Скорей бы, скорей в побег, в побег

От этих кровью выдоенных стран.

С объятьями нас принимает всех

С Екатериною воюющий султан.

Уже стекается придушенная чернь

С озоркой, словно полевые мыши.

О солнце-колокол, твое тили-ли-день,

Быть может, здесь мы больше не услышим!

Но что там? Кажется, шаги?

Шаги... Шаги...

Эй, кто идет? Кто там идет?

ПУГАЧЕВ

Свой... свой...

КАРАВАЕВ

Кто свой?

ПУГАЧЕВ

Я, Емельян.

КАРАВАЕВ

А, Емельян, Емельян, Емельян!

Что нового в этом мире, Емельян?

Как тебе нравится этот дождь?

ПУГАЧЕВ

Этот дождь на счастье Богом дан,

Нам на руку, чтоб он хлестал всю ночь.

КАРАВАЕВ

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян.

Славный дождь! Замечательный дождь!

ПУГАЧЕВ

Нынче вечером, в темноте скрываясь,

Я правительственные посты осмотрел.

Все часовые попрятались, как зайцы,

Боясь замочить шинели.

Знаешь? Эта ночь, если только мы выступим,

Не кровью, а зарею окрасила б наши ножи,

Всех бы солдат без единого выстрела

В сонном Яике мы могли уложить...

Завтра ж к утру будет ясная погода,

Сивым табуном проскачет хмарь.

Слушай, ведь я из простого рода

И сердцем такой же степной дикарь!

Я умею, на сутки и версты не трогаясь,

Слушать бег ветра и твари шаг,

Оттого что в груди у меня, как в берлоге,

Ворочается зверенышем теплым душа.

Мне нравится запах травы, холодом подоженной,

И сентябрьского листолета протяжный свист.

Знаешь ли ты, что осенью медвежонок

Смотрит на луну,

Как на вьющийся в ветре лист?

По луне его учит мать

Мудрости своей звериной,

Чтобы смог он, дурашливый, знать

И призванье свое и имя.

Я значенье мое разгадал...

КАРАБАЕВ

Тебе ж недаром верят?

ПУГАЧЕВ

Долгие, долгие тяжкие года

Я учил в себе разуму зверя...

Знаешь? Люди ведь все со звериной душой, —

Тот медведь, тот лиса, та волчица,

А жизнь — это лес большой,

Где заря красным всадником мчится.

Нужно крепкие, крепкие иметь клыки.

КАРАБАЕВ

Да, да! Я тоже так думаю, Емельян...

И если б они у нас были,

То московские полки

Нас не бросали, как рыб, в Чаган.

Они б побоялись нас жать

И карать так легко и просто

За то, что в чаду мятежа

Убили мы двух прохвостов.

ПУГАЧЕВ

Бедные, бедные мятежники!

Вы цвели и шумели, как рожь.

Ваши головы колосьями нежными

Раскачивал июльский дождь.

Вы улыбались тварям...

.....

Послушай, да ведь это ж позор,

Чтоб мы этим поганым харям

Не смогли отомстить до сих пор?

Разве это когда прощается,

Чтоб с престола какая-то б...

Протягивала солдат, как пальцы,

Непокорную чернь умерщвлять!

Нет, не могу, не могу!

К черту султана с туретчиной,

Только на радость врагу

Этот побег опрометчивый.

Нужно остаться здесь!

Нужно остаться, остаться,

Чтобы вскипела месть

Золотою пургой акации,

Чтоб пролились ножи

Железными струями люто!

Слушай! Бросай сторожить,

Беги и буди весь хутор.

Происшествие на Таловом умёте

ОБОЛЯЕВ

Что случилось? Что случилось?

Что случилось?

ПУГАЧЕВ

Ничего страшного. Ничего страшного.

Ничего страшного.

Там на улице жолклая сырость

Гонит туман, как стада барашковые.

Мокрою цаплей по лужам полей бороздя,

Ветер заставил все живое,

Как жаб по их гнездам, скрыться,

И только порою,

Привязанная к нитке дождя,

Черным крестом в воздухе

Проболтнется шальная птица.

Это осень, как старый оборванный монах,

Пророчит кому-то о погибели вещи.

.....

Послушайте, для наших благ

Я придумал кой-что похлеще.

КАРАВАЕВ

Да, да! Мы придумали кой-что похлеще.

ПУГАЧЕВ

Знаете ли вы,

Что по черни ныряет весть,

Как по гребням волн лодка с парусом низким?

По-звериному любит мужик наш на

корточки сесть

И сосать эту весть, как коровьи большие сиськи.

От песков Джигильды до Алатыря

Эта весть о том,

Что какой-то жестокий поводырь

Мертвую тень императора

Ведет на российскую ширь.

Эта тень с веревкой на шее безмясой,

Отвалившуюся челюсть теребя,

Скрипящими ногами приплясывая,

Идет отомстить за себя,

Идет отомстить Екатерине,

Подымая руку, как желтый кол,

За то, что она с сообщниками своими,

Разбив белый кувшин

Головы его,

Взошла на престол.

ОБОЛЯЕВ

Это только веселая басня!

Ты, конечно, не за этим пришел,

Чтоб рассказать ее нам?

ПУГАЧЕВ

Напрасно, напрасно, напрасно

Ты так думаешь, брат Степан.

КАРАБАЕВ

Да, да! По-моему, тоже напрасно.

ПУГАЧЕВ

Разве важно, разве важно, разве важно,

Что мертвые не встают из могил?

Но зато кой-где почву безвлажную

Этот слух словно плугом взрыл.

Уже слышится благовест бунтов,

Рев крестьян оглашает зенит,

И кустов деревянный табун

Безлиственной ковкой звенит.

Что ей Петр? – Злой и дикой ораве? —

Только камень желанного случая,

Чтобы колья погромные правили

Над теми, кто грабил и мучил.

Каждый платит за лепту лептою,

Мечь щенками кровавыми щенится.

Кто же скажет, что это свирепствуют

Бродяги и отщепенцы?

Это буйствуют россияне!

Я ж хочу научить их под хохот сабель

Обтянуть тот зловещий скелет парусами

И пустить его по безводным степям,

Как корабль.

А за ним

По курганам синим

Мы живых голов двинем бурливый флот.

.....

.....

Послушайте! Для всех отныне

Я – император Петр!

КАЗАКИ

Как император?

ОБОЛЯЕВ

Он с ума сошел!

ПУГАЧЕВ

Ха-ха-ха!

Вас испугал могильщик,

Который, череп разложив как горшок,

Варит из медных монет щи,

Чтоб похлебать в черный срок.

Я стращать мертвецом вас не стану,

Но должны ж вы, должны понять,

Что этим кладбищенским планом

Мы подыдем монгольскую рать!

Нам мало того простолюдства,

Которое в нашем краю,

Пусть калмык и башкирец бьются

За бараньи костры средь юрт!

ЗАРУБИН

Это верно, это верно, это верно!

Кой нам черт умышлять побег?

Лучше здесь всем им головы скверные

Обломать, как колеса с телег.

Будем крыть их ножами и матом,

Кто без сабли – так бей кирпичом!

Да здоровствует наш император,

Емельян Иванович Пугачев!

ПУГАЧЕВ

Нет, нет, я для всех теперь

Не Емельян, а Петр...

КАРАВАЕВ

Да, да, не Емельян, а Петр...

ПУГАЧЕВ

Братья, братья, ведь каждый зверь

Любит шкуру свою и имя...

Тяжко, тяжело моей голове

Опускать себя чуждым ином.

Трудно сердцу светильником мести

Освещать корявые чащи.

Знайτε, в мертвое имя влезть —

То же, что в гроб смердящий.

Больно, больно мне быть Петром,

Когда кровь и душа Емельянова.

Человек в этом мире не бревенчатый дом,

Не всегда перестроишь наново...

Но... к черту все это, к черту!

Прочь жалость телячьих нег!

Нынче ночью в половине четвертого

Мы устроить должны набег.

Уральский каторжник

ХЛОПУША

Сумасшедшая, бешеная кровавая мать!

Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?

Проведите, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека.

Я три дня и три ночи искал ваш умёт,

Тучи с севера сыпались каменной грудой.

Слава ему! Пусть он даже не Петр!

Чернь его любит за буйство и удаль.

Я три дня и три ночи блуждал по тропам,

В солонце рыл глазами удачу,

Ветер волосы мои, как солому, трепал

И цепями дождя обмолачивал.

Но озлобленное сердце никогда не заблудится,

Эту голову с шеи сшибить нелегко.

Оренбургская заря красношерстной верблюдицей

Рассветное роняла мне в рот молоко.

И холодное корявое вымя сквозь тьму

Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.

Проведите, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека.

ЗАРУБИН

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!

Что тебе нужно в нашем лагере?

Отчего глаза твои,

Как два цепных кобеля,

Беспокойно ворочаются в соленой влаге?

Что пришел ты ему сообщить?

Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга?

Прорубились ли в Азию бунтовщики?

Иль, как зайцы, бегут от Оренбурга?

ХЛОПУША

Где он? Где? Неужель его нет?

Тяжелее, чем камни, я нес мою душу.

Ах, давно, знать, забыли в этой стране

Про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу.

Смейся, человек!

В ваш хмурый стан

Посылаются замечательные разведчики.

Был я каторжник и арестант,

Был убийца и фальшивомонетчик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли,

Расставляет расплата капканы терний.

Заковали в колодки и вырвали ноздри

Сыну крестьянина Тверской губернии.

Десять лет —

Понимаешь ли ты, десять лет? —

То острожничал я, то бродяжил.

Это теплое мясо носил скелет

На общипку, как пух лебяжий.

Черта ль с того, что хотелось мне жить?

Что жестокостью сердце устало хмуриться?

Ах, дорогой мой,

Для помещика мужик —

Все равно что овца, что курица.

Ежедневно молясь на зари желтый гроб,

Кандалы я сосал голубыми руками...

Вдруг... три ночи назад... губернатор

Рейнсдорп,

Как сорвавшийся лист,

Взлетел ко мне в камеру...

«Слушай, каторжник!

(Так он сказал.)

Лишь тебе одному поверю я.

Там в ковыльных просторах ревет гроза,

От которой дрожит вся империя,

Там какой-то пройдоха, мошенник и вор

Вздумал вздыбить Россию ордой грабителей,

И дворянские головы сечет топор —

Как березовые купола

В лесной обители.

Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож?

(Так он сказал, так он сказал мне.)

Вот за эту услугу ты свободу найдешь

И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,

Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.

Проведите ж, проведите меня к нему,

Я хочу видеть этого человека!

ЗАРУБИН

Станный гость.

ПОДУРОВ

Подозрительный гость.

ЗАРУБИН

Как мы можем тебе довериться?

ПОДУРОВ

Их немало, немало, за червонцев горсть

Готовых пронзить его сердце.

ХЛОПУША

Ха-ха-ха!

Это очень неглупо,

Вы надежный и крепкий щит.

Только весь я до самого пупа —

Местью вскормленный бунтовщик.

Каплет гноем смола прогоркляя

Из разодранных ребер изб.

Завтра ж ночью я выбегу волком

Человеческое мясо грызть.

Все равно ведь, все равно ведь, все равно ведь,

Не сожрешь — так сожрут тебя ж.

Нужно вечно держать наготове

Эти руки для драки и краж.

Верьте мне!

Я пришел к вам как друг.

Сердце радо в пурге расколоться

Оттого, что без Хлопуши

Вам не взять Оренбург

Даже с сотней лихих полководцев.

ЗАРУБИН

Так открой нам, открой, открой

Тот план, что в тебе хоронится.

ПОДУРОВ

Мы сейчас же, сейчас же пошлем тебя в бой

Командиром над нашей конницей.

ХЛОПУША

Нет!

Хлопуша не станет биться.

У Хлопуши другая мысль.

Он хотел бы, чтоб гневные лица

Вместе с злобой умом налились.

Вы бесстрашны, как хищные звери,

Грозен лязг ваших битв и побед,

Но ведь все ж у вас нет артиллерии?

Но ведь все ж у вас пороху нет?

Ах, в башке моей, словно в бочке,

Мозг, как спирт, хлебной едкостью лют.

Знаю я, за Сакмарой рабочие

Для помещиков пушки льют.

Там найдется и порох, и ядра,

И наводчиков зоркая рать,

Только надо сейчас же, не откладывая,

Всех крестьян в том краю взбунтовать.

Стыдно медлить здесь, стыдно медлить,

Гнев рабов – не кобылий фырк...

Так давайте ж по липовой меди

Трахнем вместе к границам Уфы.

В стане Зарубина

ЗАРУБИН

Эй ты, люд честной да веселый,

Забубенная трын-трава!

Подружилась с твоими селами

Скуломордая татарва.

Свищут кони, как вихри, по полю,

Только взглянешь – и след простыл.

Месяц, желтыми крыльями хлопая,

Раздирает, как ястреб, кусты.

Загляжусь я по ровной голи

В синюю стынущие луга,

Не березовая ль то Монголия?

Не кибитки ль киргиз – стога?..

Слушай, люд честной, слушай, слушай

Свой кочевнический пересвист!

Оренбург, осажденный Хлопушей,

Ест лягушек, мышей и крыс.

Треть страны уже в наших руках,

Треть страны мы как войско выставили.

Нынче ж в ночь потеряет враг

По Приволжью все склады и пристани.

ШИГАЕВ

Стоп, Зарубин!

Ты, наверное, не слыхал,

Это видел не я...

Другие...

Многие...

Около Самары с пробитой башкой ольха,

Капая желтым мозгом,

Прихрамывает при дороге.

Словно слепец, от ватаги своей отстав,

С гнусавой и хриплой дрожью

В рваную шапку вороньего гнезда

Просит она на пропитанье

У проезжих и у прохожих.

Но никто ей не бросит даже камня.

В испуге крестясь на звезду,

Все считают, что это страшное знамение,

Предвещающее беду.

Что-то будет.

Что-то должно случиться.

Говорят, наступит глад и мор,

По сту раз на лету будет склевывать птица

Желудочное свое серебро.

ТОРНОВ

Да-да-да!

Что-то будет!

Повсюду

Воют слухи, как псы у ворот,

Дует в души суровому люду

Ветер сырью и вонью болот.

Быть беде!

Быть великой потере!

Знать, не зря с луговой стороны

Луны лошадиный череп

Каплет золотом сгнившей слюны.

Зарубин

Врете! Врете вы,

Нож вам в спины!

С детства я не видал в глаза,

Чтоб от этакой чертовщины

Хуже бабы дрожал казак.

ШИГАЕВ

Не дрожим мы, ничуть не дрожим!

Наша кровь – не башкирские хляби.

Сам ты знаешь ведь, чьи ножи

Пробивали дорогу в Челябинск.

Сам ты знаешь, кто брал Осу,

Кто разбил наголо Сарапуль.

Столько мух не сидело у тебя на носу,
Сколько пуль в наши спины вцарапали.
В стужу ль, в сырость ли,
В ночь или днем —
Мы всегда наготове к бою,
И любой из нас больше дорожит конем,
Чем разбойной своей головою.
Но кому-то грозитя, грозитя беда,
И ее ль казаку не слышать?
Посмотри, вон сидит дымовая труба,
Как наездник, верхом на крыше.
Вон другая, вон третья,
Не счесть их рыл
С залихватской тоской остолопов,
И весь дикий табун деревянных кобыл
Мчится, пылью клубя, галопом.
Ну куда ж он? Зачем он?
Каких дорог
Оголтелые всадники ищут?
Их стегает, стегает переполох
По стеклянным глазам кнутовищем.

ЗАРУБИН

Нет, нет, нет!
Ты не понял...
То слышится звань,
Звань к оружию под каждой оконницей.
Знаю я, нынче ночью идет на Казань
Емельян со свирепой конницей.
Сам вчера, от восторга едва дыша,
За горой в предрассветной мгле
Видел я, как тянулись за Черемшан
С артиллерией тысячи телег.
Как торжественно с хрипом колесным обоз
По дорожным камням грохотал.
Рев верблюдов сливался с бляением коз
И с гортанною речью татар.

ТОРНОВ

Что ж, мы верим, мы верим,
Быть может,
Как ты мыслишь, все так и есть;
Голос гнева, с бедою схожий,
Нас сзывает на страшную месть.
Дай Бог!
Дай Бог, чтоб так и случилось.

ЗАРУБИН

Верьте, верьте!
Я вам клянусь!
Не беда, а нежданная радость
Упадет на мужицкую Русь.
Вот вззвенел, словно сабли о панцири,
Синий сумрак над ширью равнин.
Даже рощи —
И те повстанцами
Подымают хоругви рябин.
Зреет, зреет веселая сеча.
Взвоят в небо кровавый туман.
Гулом ядер и свистом картечи
Будет завтра их крыть Емельян.
И чтоб бунт наш гремел безысходней,
Чтоб вконец не сосала тоска, —
Я сегодня ж пошлю вас, сегодня,
На подмогу его войскам.

Ветер качает рожь

ЧУМАКОВ

Что это? Как это? Неужель мы разбиты?

Сумрак голодной волчицей выбежал кровь зари лакать.

О эта ночь! Как могильные плиты,

По небу тянутся каменные облака.

Выйдешь в поле, зовешь, зовешь,

Кличешь старую рать, что легла под Сарептой,

И глядишь и не видишь – то ли зыбится рожь,

То ли желтые полчища пляшущих скелетов.

Нет, это не август, когда осыпаются овсы,

Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой.

Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы,

Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы.

Сорок тысяч нас было, сорок тысяч,

И все сорок тысяч за Волгой легли, как один.

Даже дождь так не смог бы траву иль солому высечь,

Как осыпали саблями головы наши они.

Что это? Как это? Куда мы бежим?

Сколько здесь нас в живых осталось?

От горящих деревень бьющий лапами в небо дым

Расстигает по земле наш позор и усталость.

Лучше б было погибнуть нам там и лечь,

Где кружит воронье беспокойным, зловещим свадьбищем,

Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч,

Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбище!

БУРНОВ

Нет! Ты не прав, ты не прав, ты не прав!

Я сейчас чувством жизни, как никогда, болен.

Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркатся по золоту трав

И сшибать черных галок с крестов голубых колоколен.

Все, что отдал я за свободу черни,

Я хотел бы вернуть и поверить снова,

Что вот эту луну,

Как керосиновую лампу в час вечерний,

Зажигает фонарщик из города Тамбова.

Я хотел бы поверить, что эти звезды – не звезды,

Что это – желтые бабочки, летящие на лунное пламя...

Друг!..

Зачем же мне в душу ты ропотом слезным

Бросаешь, как в стекла часовни, камнем?

ЧУМАКОВ

Что жалеть тебе смрадную холодную душу —

Околевшего медвежонка в тесной берлоге?

Знаешь ли ты, что в Оренбурге зарезали Хлопушу?

Знаешь ли ты, что Зарубин в Табинском остроге?

Наше войско разбито вконец Михельсоном,

Калмыки и башкиры удрали к Аральску в Азию.

Не с того ли так жалобно

Суслики в поле притоптанном стонут,

Обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья, грязью?

Гибель, гибель стучит по деревьям в колотушку.

Кто ж спасет нас? Кто даст нам укрыться?

Посмотри! Там опять, там опять за опушкой

В воздух крылья крестами бросают крикливые птицы.

БУРНОВ

Нет, нет, нет! Я совсем не хочу умереть!

Эти птицы напрасно над нами вьются.

Я хочу снова отроком, отряхая с осинника медь,

Подставляя ладони, как белые скользкие блюда.

Как же смерть?

Разве мысль эта в сердце поместится,

Когда в Пензенской губернии у меня есть свой дом?

Жалко солнышко мне, жалко месяц,

Жалко тополь над низким окном.

Только для живых ведь благословенны

Рощи, потоки, степи и зелена.

Слушай, плевать мне на всю вселенную,

Если завтра здесь не будет меня!

Я хочу жить, жить, жить,

Жить до страха и боли!

Хоть карманником, хоть золоторотцем,

Лишь бы видеть, как мыши от радости прыгают в поле,

Лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют в колодце.

Яблоневым цветом брызжется душа моя белая,

В синее пламя ветер глаза раздул.

Ради Бога, научите меня,

Научите меня, и я что угодно сделаю,

Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечесьем саду!

ТВОРОГОВ

Стойте! Стойте!

Если б знал я, что вы не трусливы,

То могли б мы спастись без труда.

Никому б не открыли наш заговор безъязыкие ивы,

Сохранила б молчанье одинокая в небе звезда.

Не пугайтесь!

Не пугайтесь жестокого плана,

Это не тяжелее, чем хруст ломаемых в теле костей,

Я хочу предложить вам:

Связать на заре Емельяна

И отдать его в руки грозящих нам смертью властей.

ЧУМАКОВ

Как, Емельяна?

БУРНОВ

Нет! Нет! Нет!

ТВОРОГОВ

Хе-хе-хе!

Вы глупее, чем лошади!

Я уверен, что завтра ж,

Лишь золотом плюнет рассвет,

Вас развешат солдаты, как туш, на какой-нибудь площади,

И дурак тот, дурак, кто жалеть будет вас,

Оттого что сами себе вы придумали тернии.

Только раз ведь живем мы, только раз!

Только раз светит юность, как месяц в родной губернии.

Слушай, слушай, есть дом у тебя на Суре,

Там в окно твое тополь стучится багряными листьями,

Словно хочет сказать он хозяину в хмурой октябрьской поре,

Что изранила его осень холодными меткими выстрелами.

Как же сможешь ты тополю помочь?

Чем залечишь ты его деревянные раны?

Вот такая же жизни осенняя гулкая ночь

Общипала, как тополь зубами дождей, Емельяна.

Знаю, знаю, весной, когда лает вода,

Тополь снова покроется мягкой зеленой кожей.

Но уж старые листья на нем не взойдут никогда —

Их растащит зверье и потопчут прохожие.

Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию?

Что, набравши кочевников, может снова удариться в бой?

Все равно ведь и новые листья падут и покроются грязью.

Слушай, слушай, мы старые листья с тобой!

Так чего ж нам качаться на голых корявых ветвях?

Лучше оторваться и броситься в воздух кружиться,

Чем лежать и струить золотое гниенье в полях,

Чем глаза твои выключают черные хищные птицы.

Тот, кто хочет за мной, — в добрый час!

Нам башка Емельяна — как челн

Потопающим в дикой реке...

Только раз ведь живем мы, только раз!

Только раз славит юность, как парус, луну вдалеке.

Конец Пугачева

ПУГАЧЕВ

Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!

Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Злые рты, как с протухшею пищею кошли,

Зловонно рыгают бесстыдной ложью.

Трижды проклят тот трус, негодяй и злодей,

Кто сумел окормить вас такую дурью.

Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей

И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде,

Но затем-то и злей над туманною вязью

Деревянными крыльями по каспийской воде

Наши лодки заплещут, как лебеди, в Азию.

О Азия, Азия! Голубая страна,

Обсыпанная солью, песком и известкой.

Там так медленно по небу едет луна,

Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.

Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо

Скачут там шерстожелтые горные реки!

Не с того ли так свищут монгольские орды

Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

Уж давно я, давно я скрывал тоску

Перебраться туда, к их кочующим станам,

Чтоб разящими волнами их сверкающих скул

Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.

Так какой же мошенник, прохвост и злодей

Окормил вас бесстыдной трусливой дурью?

Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей

И попасть до рассвета со мною в Гурьев.

КРЯМИН

О смешной, о смешной, о смешной Емельян!

Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый;

Расплескалась удаль твоя по полям,

Не вскипеть тебе больше ни в какой азиатчине.

Знаем мы, знаем твой монгольский народ,

Нам ли храбрость его неизвестна?

Кто же первый, кто первый, как не этот сброд

Под Сакмарой ударился в бегство?

Как всегда, как всегда, эта дикая гнусь

Выбирала для жертвы самых слабых и меньших,

Только б грабить и жечь ей пограничную Русь

Да привязывать к седлам добычей женщин.

Ей всегда был приятней набег и разбой,

Чем суровые походы с житейской хмурью.

.....

Нет, мы больше не можем идти за тобой,

Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий; ни в Гурьев.

ПУГАЧЕВ

Боже мой, что я слыщу?

Казак, замолчи!

Я заткну твою глотку ножом иль выстрелом...

Неужели и вправду отзвенели мечи?

Неужель это плата за все, что я выстрадал?

Нет, нет, нет, не поверю, не может быть!

Не на то вы возрастали в степных станицах,

Никакие угрозы суровой судьбы

Не должны вас заставить смириться.

Вы должны разжигать еще больше тот взвой,

Когда ветер метелями с наших стран дул...

Смело ж к Каспию! Смело за мной!

Эй вы, сотники, слушать команду!

КРЯМИН

Нет! Мы больше не слуги тебе!

Нас не взманит твое сумасбродство.

Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе

Лечь, как толпы других, по погостам.

Есть у сердца невзгоды и тайный страх

От кровавых раздоров и стонов.

Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах

Слушать шум тополей и кленов.

Есть у нас роковая зацепка за жизнь,

Что прочнее канатов и проволок...

Не пора ли тебе, Емельян, сложить

Перед властью мятежную голову?!

Все равно то, что было, назад не вернешь,

Знать, недаром листвою октябрь заплакал...

ПУГАЧЕВ

Как? Измена?

Измена?

Ха-ха-ха!..

Ну так что ж!

Получай же награду свою, собака!

(Стреляет.)

Крямин падает мертвым. Казаки с криком обнажают сабли. Пугачев, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене.

ГОЛОСА

Вяжите его! Вяжите!

ТВОРОГОВ

Бейте! Бейте прямо саблей в морду!

ПЕРВЫЙ ГОЛОС

Натерпелись мы этой прыти...

ВТОРОЙ ГОЛОС

Тащите его за бороду...

ПУГАЧЕВ

...Дорогие мои... Хор-рошие...

Что случилось? Что случилось? Что
случилось?

Кто так страшно визжит и хохочет

В придорожную грязь и сырость?

Кто хихикает там исподтишка,

Злобно отплевываясь от солнца?

.....

...Ах, это осень!

Это осень вытряхивает из мешка

Чеканенные сентябрем червонцы.

Да! Погиб я!

Приходит час...

Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...

...Это она!

Это она подкупила вас,

Злая и подлая оборванная старуха.

Это она, она, она,

Разметав свои волосы зарею зыбкой,

Хочет, чтоб сгибла родная страна

Под ее невеселой холодной улыбкой.

ТВОРОГОВ

Ну, рехнулся... чего ж глазеть?

Вяжите!

Чай, не выбьет стены головою.

Слава Богу! конец его зверской резне,

Конец его злобному волчьему вою.

Будет ярче гореть теперь осени медь,

Мак зари черпаками ветров не выхлестать.

Торопитесь же!

Нужно скорей поспеть

Передать его в руки правительства.

ПУГАЧЕВ

Где ж ты? Где ж ты, бывшая мощь?

Хочешь встать – и рукою не можешь двинуться!

Юность, юность! Как майская ночь,

Отзвенела ты черемухой в степной провинции.

Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,

Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц.

Золотою известкой над низеньким домом

Брызжет широкий и теплый месяц.

Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица,
И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.

Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?

А казалось... казалось еще вчера...

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

<1921>

Черный человек

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,

Как крыльями птица.

Ей на шее ноги

Маячить больше невмочь.

Черный человек,

Черный, черный,

Черный человек

На кровать ко мне садится,

Черный человек

Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек

Водит пальцем по мерзкой книге

И, гнусавя надо мной,

Как над усопшим монах,

Читает мне жизнь

Какого-то прохвоста и забулдыги,

Нагоняя на душу тоску и страх.

Черный человек,

Черный, черный!

«Слушай, слушай, —

Бормочет он мне, —

В книге много прекраснейших

Мыслей и планов.

Этот человек

Проживал в стране

Самых отвратительных

Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране

Снег до дьявола чист,

И метели заводят

Веселые прялки.

Был человек тот авантюрист,

Но самой высокой

И лучшей марки.

Был он изящен,

К тому ж поэт,

Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милою».

«Счастье, — говорил он, —

Есть ловкость ума и рук.

Все неловкие души

За несчастных всегда известны.

Это ничего,

Что много мук

Приносят изломанные

И лживые жесты.

В грозы, в бури,

В житейскую стынь,

При тяжелых утратах

И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым —

Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!

Ты не смеешь этого!

Ты ведь не на службе

Живешь водолазовой.

Что мне до жизни

Скандального поэта.

Пожалуйста, другим

Читай и рассказывай».

Черный человек

Глядит на меня в упор.

И глаза покрываются

Голубой блевотой, —

Словно хочет сказать мне,

Что я жулик и вор,

Так бесстыдно и нагло

Обокравший кого-то.

.....

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.

Тих покой перекрестка.

Я один у окошка,

Ни гостя, ни друга не жду.

Вся равнина покрыта

Сыпучей и мягкой известкой,

И деревья, как всадники,

Съехались в нашем саду.

Где-то плачет

Ночная зловещая птица.

Деревянные всадники

Сеют копытливый стук.

Вот опять этот черный

На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.
«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится. —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.
Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мируку?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?
Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую, —
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.
Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...
И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Черный человек!
Ты прескверный гость.

Эта слава давно
Про тебя разносится».

Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость

Прямо к морде его,
В переносицу...

.....

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.

Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?

Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.

Я один...
И разбитое зеркало...

<1922–1925>

Анна Снегина
А. Воронскому

«Село, значит, наше – Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодию
Рассажены тополя.
Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.
Оброки платили мы к сроку,
Но – грозный судья – старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягот.
Раз – власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.
Но люди – все грешные души.
У многих глаза – что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохой
На паре заезженных кляч.
Каких уж тут ждать обилий, —
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.

Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.
В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.
На нашей быдластой сходке
Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар». —
Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я – игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу»[1], и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год.
Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смердном огне
Тогда над страну калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать

Прохвосты и дармоеды

Сгоняли на фронт умирать.

Но все же не взял я шпагу...

Под грохот и рев мортир

Другую явил я отвагу —

Был первый в стране дезертир.

Дорога довольно хорошая,

Приятная хладная звень.

Луна золотою порошею

Осыпала даль деревень.

«Ну, вот оно, наше Радово, —

Промолвил возница, —

Здесь!

Недаром я лошади вкладывал

За норов ее и спесь.

Позволь, гражданин, на чайшко.

Вам к мельнику надо?

Так вон!..

Я требую с вас без излишка

За дальний такой прогон».

.....

Даю сороковку.

«Мало!»

Даю еще двадцать.

«Нет!»

Такой отвратительный малый.

А малому тридцать лет.

«Да что ж ты?

Имеешь ли душу?

За что ты с меня гребешь?»

И мне отвечает туша:

«Сегодня плохая рожь.

Давайте еще незвонких

Десяток иль штучек шесть —

Я выпью в шинке самогонки

За ваше здоровье и честь...»

И вот я на мельнице...

Ельник

Осыпан свечью светляков.

От радости старый мельник

Не может сказать двух слов:

«Голубчик! Да ты ли?

Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог!»

В апреле прозябнуть трудно,

Особенно так в конце.

Был вечер задумчиво чудный,

Как дружья улыбка в лице.

Объятъя мельника круты,

От них заревет и медведь,

Но все же в плохие минуты

Приятно друзей иметь.

«Откуда? Надолго ли?» —

«На год». —

«Ну, значит, дружище, гуляй!

Сим летом грибов и ягод

У нас хоть в Москву отбавляй.

И дичи здесь, братец, до черта,

Сама так под порох и прет.

Подумай ведь только...

Четвертый

Тебя не видали мы год...»

.....

.....

Беседа окончена...

Чинно

Мы выпили весь самовар.

По-старому с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,

Лицо задевает сирень.

Так мил моим вспыхнувшим взглядам

Состарившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет,

И девушка в белой накидке

Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие, милые были.

Тот образ во мне не угас...

Мы все в эти годы любили,

Но мало любили нас.

«Ну что же! Вставай, Сергуша!

Еще и заря не текла,

Старуха за милую душу

Оладьев тебе напекла.

Я сам-то сейчас уеду

К помещице Снегиной...

Ей

Вчера настрелял я к обеду

Прекраснейших дупелей».

Привет тебе, жизни денница!

Встаю, одеваюсь, иду.

Дымком отдает росяница

На яблонях белых в саду.

Я думаю:

Как прекрасна

Земля

И на ней человек.

И сколько с войной несчастных

Уродов теперь и калек!

И сколько зарыто в ямах!

И сколько зароят еще!

И чувствую в скулах упрямых

Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!

Не пойду навеки!

За то, что какая-то мразь

Бросает солдату-калеке

Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха!

Ты что-то немного сдала...»

И слышу сквозь кашель глухо:

«Дела одолели, дела.

У нас здесь теперь неспокойно.

Испариной все зацвело.

Сплошные мужицкие войны —

Дерутся селом на село.

Сама я своими ушами

Слыхала от прихожан:

То радовцев бьют криушане,

То радовцы бьют криушан.

А все это, значит, безвластье.

Прогнали царя...

Так вот...

Посыпались все напасти

На наш неразумный народ.

Открыли зачем-то остроги,

Злодеев пустили лихих.

Теперь на большой дороге

Покою не знай от них.

Вот тоже, допустим... с Криуши...

Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,

Они ж, воровские души,

Вернулись опять домой.

У них там есть Прон Оглоблин,

Булдыжник, драчун, грубиян.

Он вечно на всех озлоблен,

С утра по неделям пьян.

И нагло в третьевом годе,

Когда объявили войну,

При всем честном народе

Убил топором старшину.

Таких теперь тысячи стало

Творить на свободе гнусь.

Пропала Расея, пропала...

Погибла кормилица Русь...»

Я вспомнил рассказ возницы

И, взяв свою шляпу и трость,

Пошел мужикам поклониться,

Как старый знакомый и гость.

Иду голубою дорожкой

И вижу – навстречу мне

Несется мой мельник на дрожках

По рыхлой еще целине.

«Сергуха! За милую душу!

Постой, я тебе расскажу!

Сейчас! Дай поправить вожжу,

Потом и тебя оглошу.

Чего ж ты мне утром ни слова?

Я Снегиным так и бряк:

Приехал ко мне, мол, веселый

Один молодой чудак.

(Они ко мне очень желанны,

Я знаю их десять лет.)

А дочь их замужняя Анна

Спросила:

– Не тот ли, поэт?

– Ну, да, – говорю, – он самый.

– Блондин?

– Ну, конечно, блондин!

– С кудрявыми волосами?

– Забавный такой господин!

– Когда он приехал?

– Недавно.

– Ах, мамочка, это он!

Ты знаешь,

Он был забавно

Когда-то в меня влюблен.

Был скромный такой мальчишка,

А нынче...

Поди ж ты...

Вот...

Писатель...

– Известная шишка...

Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,

Лукаво прищурил глаз:

«Ну, ладно! Прощай до обеда!

Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу

И тростью сшибал зелена.

Ничто не пробилось мне в душу,

Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.
Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!» —
«Э, охотник!
Здорово, здорово!
Садись!
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим.
Ты – свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод...
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,

Что землю не троньте,

Еще не настал, мол, миг.

За что же тогда на фронте

Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой

Смотрел мне в лицо и в глаза,

А я, отягченный думой,

Не мог ничего сказать.

Дрожали, качались ступени,

Но помню

Под звон головы:

«Скажи,

Кто такое Ленин?»

Я тихо ответил:

«Он – вы».

На корточках ползали слухи,
Судили, решали, шепча.
И я от моей старухи
Достаточно их получал.
Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар.
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.
Мой мельник с ума, знать, спятил.
Поехал,
Кого-то привез...
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
«А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала.
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы – знаменитый поэт.
.....
Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,

Коснувшись до вас рукой.

Да...

Не вернуть, что было.

Все годы бегут в водоем.

Когда-то я очень любила

Сидеть у калитки вдвоем.

Мы вместе мечтали о славе...

И вы угодили в прицел,

Меня же про это заставил

Забывать молодой офицер...»

Я слушал ее и невольно

Оглядывал стройный лик.

Хотелось сказать:

«Довольно!

Найдемте другой язык!»

Но почему-то, не знаю,

Смущенно сказал невпопад:

«Да... Да...

Я сейчас вспоминаю...

Садитесь.

Я очень рад.

Я вам прочитаю немного

Стихи

Про кабацкую Русь...

Отделано четко и строго.

По чувству – цыганская грусть».

«Сергей!

Вы такой нехороший.

Мне жалко,

Обидно мне,

Что пьяные ваши дебоши

Известны по всей стране.

Скажите:

«Что с вами случилось?» —

«Не знаю». —

«Кому же знать?» —

«Наверно, в осеннюю сырость

Меня родила моя мать». —

«Шутник вы...» —

«Вы тоже, Анна». —

«Кого-нибудь любите?» —

«Нет». —

«Тогда еще более странно

Губить себя с этих лет:

Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль...

Не знаю, зачем я трогал

Перчатки ее и шаль.

.....

Луна хохотала, как клоун.

И в сердце хоть прежнего нет,

По-странному был я полон

Наплывом шестнадцати лет.

Расстались мы с ней на рассвете

С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,

А с летом прекрасное в нас.

Мой мельник...

Ох, этот мельник!

С ума меня сводит он.

Устроил волюнку, бездельник,

И бегаёт как почтальон.

Сегодня опять с запиской,

Как будто бы кто-то влюблен:

«Придите.

Вы самый близкий.

С любовью

Оглоблин

Прон».

Иду.

Прихожу в Криушу.

Оглоблин стоит у ворот

И спяну в печенки и в душу

Костит обнищальный народ.

«Эй, вы!

Тараканье отродье!

Все к Снегиной!..

Р-раз – и квас!

Дашь, мол, твои угоды

Без всякого выкупа с нас!»

И тут же, меня завидя,

Снижая сварливую прыть,

Сказал в неподдельной обиде:

«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?» —

«Конечно, ни жать, ни косить.

Сейчас я достану лошадь

И к Снегиной... вместе...

Просить...»

И вот запрягли нам клячу.

В оглоблях мосластая шкетъ —

Таких отдают с придачей,

Чтоб только самим не иметь.

Мы ехали мелким шагом,

И путь нас смешил и злил:

В подъемах по всем оврагам

Телегу мы сами везли.

Приехали.

Дом с мезонином

Немного присел на фасад.

Волнующе пахнет жасмином

Плетневый его палисад.

Слезаем.

Подходим к террасе

И, пыль отряхая с плеч,

О чем-то последнем часе

Из горницы слышим речь:

«Рыдай – не рыдай, – не помога...

Теперь он холодный труп...

Там кто-то стучит у порога.

Припудрись...

Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама

Откинула добрый засов.

И Прон мой ей брякнул прямо

Про землю,

Без всяких слов.

«Отдай!.. —

Повторял он глухо. —

Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха

Она принимала слова.

Потом в разговорную очередь

Спросила меня

Сквозь жуть:

«А вы, вероятно, к дочери?

Присядьте...

Сейчас доложу...»

Теперь я отчетливо помню

Тех дней роковое кольцо.

Но было совсем не легко мне

Увидеть ее лицо.

Я понял —

Случилось горе,

И молча хотел помочь.

«Убили... Убили Борю...

Оставьте!

Уйдите прочь!

Вы — жалкий и низкий трусишка.

Он умер...

А вы вот здесь...»

Нет, это уж было слишком.

Не всякий рожден перенести.

Как язвы, стыдясь оплеухи,

Я Прону ответил так:

«Сегодня они не в духе...

Поедем-ка, Прон, в кабак...»

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик кулик.
Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровой.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.
Мой мельник всю улыбаётся,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!»
Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!
Теперь мы всех р-раз – и квас!
Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин – старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.

Едри ж твою в бабушку плюнуть!

Гляди, голубарь, веселей!

Я первый сейчас же коммуны

Устрою в своем селе».

У Прона был брат Лабутя,

Мужик – что твой пятый туз:

При всякой опасной минуте

Хвальбишка и дьявольский трус.

Таких вы, конечно, видали.

Их рок болтовней наградил.

Носил он две белых медали

С японской войны на груди.

И голосом хриплым и пьяным

Тянул, заходя в кабак:

«Прославленному под Ляояном

Ссудите на четвертак...»

Потом, насосавшись до дури,

Взволнованно и горячо

О сдавшемся Порт-Артуре

Соседу слезил на плечо.

«Голубчик! —

Кричал он. —

Петя!

Мне больно... Не думай, что пьян.

Отвагу мою на свете

Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.

Живут, не мозоля рук.

И вот он, конечно, в Совете,

Медали запрятал в сундук.

Но с тою же важной осанкой,

Как некий седой ветеран,

Хрипел под сивушной банкой

Про Нерчинск и Турухан:

«Да, братец!

Мы горе видали,

Но нас не запугивал страх...»

.....

Медали, медали, медали

Звенели в его словах.

Он Прону вытягивал нервы,

И Прон материл не судом.

Но все ж тот поехал первый

Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:

— Дашь! Разберем потом! —

Весь хутор забрали в волость

С хозяйками и со скотом.

А мельник...

.....

Мой старый мельник

Хозяек привез к себе,

Заставил меня, бездельник,

В чужой ковыряться судьбе.

И снова нахлынуло что-то...

Тогда я всю ночь напролет

Смотрел на скривленный заботой

Красивый и чувственный рот.

Я помню —

Она говорила:

«Простите... Была не права...

Я мужа безумно любила.

Как вспомню... болит голова...

Но вас

Оскорбила случайно...

Жестокость была мой суд...

Была в том печальная тайна,

Что страстью преступной зовут.

Конечно,

До этой осени

Я знала б счастливую быль...

Потом бы меня вы бросили,

Как выпитую бутылъ...

Поэтому было не надо...

Ни встреч... ни вообще продолжать...

Тем более с старыми взглядами

Могла я обидеть мать».

Но я перевел на другое,

Уставясь в ее глаза,

И тело ее тугое

Немного качнулось назад.

«Скажите,

Вам больно, Анна,

За ваш хуторской разор?»

Но как-то печально и странно

Она опустила свой взор.

.....

«Смотрите...

Уже светает.

Заря как пожар на снегу...

Мне что-то напоминает...

Но что?..

Я понять не могу...

Ах!.. Да...

Это было в детстве...

Другой... Не осенний рассвет...

Мы с вами сидели вместе...

Нам по шестнадцать лет...»

Потом, оглядев меня нежно

И лебедя выгнув рукой,

Сказала как будто небрежно:

«Ну, ладно...

Пора на покой...»

.....

Под вечер они уехали.

Куда?

Я не знаю куда.

В равнине, проложенной вехами,

Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,

Не знаю, что сделал Прон.

Я быстро умчался в Питер

Развеять тоску и сон.

Суровые, грозные годы!
Но разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую «мать».
Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон, —
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.
Шли годы
Размашисто, пылко...
Удел хлебороба гас.
Немало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец земель и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.
Ну, ладно.
Довольно стонов!
Не нужно насмешек и слов!
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:
«Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криуцу
Не кажешься целых шесть лет!
Утешь!

Соберись, на милость!

Прижваривай по весне!

У нас здесь такое случилось,

Чего не расскажешь в письме.

Теперь стал спокой в народе,

И буря пришла в угомон.

Узнай, что в двадцатом годе

Расстрелян Оглоблин Прон.

Расея...

Дуровая зыкъ она.

Хошь верь, хошь не верь ушам —

Однажды отряд Деникина

Нагрянул на криушан.

Вот тут и пошла потеха...

С потехи такой – околеть.

Со скрежетом и со смехом

Гульнула казацкая плеть.

Тогда вот и чикнули Проню,

Лабутя ж в солому залез

И вылез,

Лишь только кони

Казацкие скрылись в лес.

Теперь он по пьяной морде

Еще не устал голосить:

«Мне нужно бы красный орден

За храбрость мою носить».

Совсем прокатились тучи...

И хоть мы живем не в раю,

Ты все ж приезжай, голубчик,

Утешить судьбину мою...»

И вот я опять в дороге.

Ночная июньская хмарь.

Бегут говорливые дроги

Ни шатко ни валко, как встарь.

Дорога довольно хорошая,

Равнинная тихая звень.

Луна золотою порошею

Осыпала даль деревень.

Мелькают часовни, колодцы,

Околицы и плетни.

И сердце по-старому бьется,

Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...

Ельник

Усыпан свечью светляков.

По-старому старый мельник

Не может связать двух слов:

«Голубчик! Вот радость! Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог.

Сергунь! Золотой! Послушай!

.....

И ты уж старик по годам...

Сейчас я за милую душу

Подарок тебе передам». —

«Подарок?»

«Нет...

Просто письмишко.

Да ты не спеши, голубок!

Почти что два месяца с лишком

Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно!

Откуда же больше и ждать!

И почерк такой беспечный,

И лондонская печать.

«Вы живы?.. Я очень рада...

Я тоже, как вы, жива.

Так часто мне снится ограда,

Калитка и ваши слова.

Теперь я от вас далёко...

В России теперь апрель.

И синею заволокой

Покрыта береза и ель.

Сейчас вот, когда бумаге

Вверяю я грусть моих слов,

Вы с мельником, может, на тяге

Подслушиваете тетеревов.

Я часто хожу на пристань

И, то ли на радость, то ль в страх,

Гляжу среди судов все пристальней

На красный советский флаг.

Теперь там достигли силы.

Дорога моя ясна...

Но вы мне по-прежнему милы,

Как родина и как весна».

.....

Письмо как письмо.

Беспричинно.

Я в жисть бы таких не писал.

По-прежнему с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,

Лицо задевает сирень.

Так мил моим вспыхнувшим взглядам

Погорбившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки

Мне было шестнадцать лет.

И девушка в белой накидке

Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..

Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,

Но, значит,

Любили и нас.

Январь 1925

Батум

Комментарии

Первым опубликованным произведением С. А. Есенина было стихотворение «Береза», напечатанное в журнале «Мирок» в январе 1914 г. под псевдонимом Аристон. Систематически под собственным именем его стихи и поэмы стали выходить в печати с 1915 г. Их публиковали наиболее крупные столичные и провинциальные журналы. После революции есенинские произведения широко выходили в периодических изданиях Советской России, печатались они также в эмигрантской периодике.

Основные книги стихотворений поэта, изданные при его жизни: «Радуница» (1916; новые издания – 1918, 1921), «Голубень» (1918; 2-е издание – 1920), «Трерядница» (1920; 2-е издание – 1921), «Исповедь хулигана» (1921), «Избранное» (1922), «Москва кабацкая» (1924), «О России и революции: стихотворения и поэмы» (1925), «Березовый ситец» (1925), «Избранные стихи» (1925), «Персидские мотивы» (1925). Отдельными книгами выходили и некоторые большие произведения Есенина. Так в 1921–1922 гг. издательствами Москвы, Петрограда и Берлина была выпущена поэма «Пугачев».

В последние месяцы жизни Есенин увлеченно работал над подготовкой трехтомного собрания своих сочинений: договор на свое издание он заключил с Госиздатом в июне 1925 г. Помещенные в нем произведения поэт расположил следующим образом: первый том – стихотворения, второй – маленькие поэмы, третий – большие поэмы. Все три тома и подготовленный издательством дополнительный четвертый том вышли в свет после смерти Есенина, в 1926–1927 гг.

Современные научные издания, как правило, следуют последней воле поэта и располагают его сочинения согласно указанным разделам, добавляя к ним в качестве еще одного раздела стихотворения, не включенные художником в итоговое собрание. Издания избранных произведений сегодня традиционно делятся на две части: стихотворения (сюда входят и маленькие поэмы) и собственно поэмы. Настоящая книга следует этой практике. Помещенные в ней произведения в основном датируются согласно указаниям поэта, а также в соответствии с наиболее авторитетными собраниями его сочинений. Исключение составляет поэма «Черный человек», применительно к которой указано реальное время ее возникновения: 1922–1925 гг. В случае со стихотворением «Песнь о собаке» (годы его написания исследователи определяют по-разному), как наиболее вероятная, избрана отличная от есенинской (1915) датировка – 1919 г. Стихотворения в книге делятся на три раздела соответственно основным этапам творческого движения поэта.

«Ой ты, Русь, моя родина кроткая...» 1910–1916

Калики

Калики – нищие, странники Христа ради, распеваящие духовные стихи, песни, псалмы.

Пречистый Спас — Господь Иисус Христос.

Вериги — железные цепи, оковы, которые носили на себе православные подвижники для смирения плоти и во спасение души. Ношение вериг означало также зримое возложение на себя тяжести собственных и людских грехов, сильное их искупление.

Скоморохи — древнерусские странствующие актеры, шуты, музыканты.

«Хороша была Танюша, краше не было в селе...»

Кистень — гиря, ядро на ремне или короткой рукоятке. Старинное, в том числе разбойничье, оружие.

«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...»

Тальянка – однорядная русская гармонь.

Прибаска — озорная частушка, изукрашенная переливами гармонии.

«Задымился вечер, дремлет кот на брус...»

Клеть — кладовая в крестьянской избе.

Свясло — соломенный жгут, которым вяжут снопы.

«Шел Господь пытать людей в любви...»

Кулижка — прогалинка, полянка в лесу.

«Троицыно утро, утренний канон...»

Троица — День Святой Троицы — православный праздник Пятидесятницы (по прошествии пятидесяти дней от Светлого Христова Воскресения), когда прославляется сошествие Святого Духа на апостолов Христа. На Троицу празднуется нерукотворное основание, начало христианской Церкви.

Канон — церковное песнопение во славу отмечаемого праздника или прославляемого святого.

«Пойду в скуфье смиренным иноком...»

Стихотворение представляет собой позднюю, 1922 г., редакцию написанного Есениным предположительно в 1914 г. стихотворения «Инок». Оно вошло в состав первой книги поэта «Радуница» (1916). Последний вариант этих стихов имеет отчетливые признаки есенинского стиля начала 1920-х гг. В нем различимы также новые идейные мотивы.

Скуфья — остроконечная шапочка, головной убор православного монашества. Происходит от скифского воинского шлема.

Лычные прясла — звенья изгороди, от кола до кола, скрепленные лыком — полосками древесной коры.

«Сторона ль моя, сторонка...»

Посолонка — скудная земля.

Подожок — дорожная палка, тросточка, клюшка.

«По дороге идут богомолки...»

Щипульные колки — колючие ветки кустарников.

Кукольни — сорняки.

Дулейка — ватная кофта, в некоторых местностях России — длинная шуба.

Косницы — ленты, которые вплетаются в косы.

«Черная, потом пропахшая выть!..»

Выть — надел земли и одновременно единица общинного самоуправления. В Рязанской губернии все пахотные и луговые земли делились на выти, объединявшие 30–60 крестьянских дворов каждая. Размер подати сначала определялся по вытям, а затем каждая выть распределяла его по числу душ.

Веретье — грубое полотнище, дерюга, подстилка для сушки зерна или его покрытия.

Таган — металлический обруч на ножках, подставка для приготовления пищи на костре.

Кукан — отмель на реке, небольшой остров.

Русь

Маленькая поэма отразила впечатления Есенина от начала в августе 1914 г. Первой мировой войны и настроения поэта, связанные с этим событием.

Застреха — нижний край, свес кровли.

Галун — тесьма.

Купырь — полевое растение, то же, что дягиль.

Сотский — полицейский чин, выбранный крестьянами из своей среды. Часто сотские использовались как обычные рассыльные.

Загыгыкали — закричали, заголосили.

Ладан — ароматическая смола, которую используют как курение при богослужениях.

Бластились — мерещились.

За ветловую сели тесьму. — Здесь уподобляются тесьме низко падающие ветки ивы.

Четница — знающая грамоту, чтица.

В хате

Драчены — блины из пшеничной муки.

Дежка — кадка, которую используют, чтобы квасить и месить тесто на хлеб.

Печурка — ямка в лицевой стене печи, место, куда кладут разные предметы для просушки или согревания.

Махотка — кувшин из глины без ручек для молока.

«Я пастух, мои палаты...»

Гарк — громкий крик.

Дупель — птица из семейства бекасов.

На кивливом языке – производное от «кивать».

«Гой ты, Русь, моя родная...»

Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткий Спас. – Все праздники Православной Церкви так или иначе прославляют Христа Спасителя. Три из них, отмечаемые в августе, издавна получили в народе название Спаса. Это Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня 14 (1) августа – первый Спас, Преображение Господне 19 (6) августа – второй Спас и Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа 29 (16) августа – третий Спас. На первый Спас христиане освящают в церкви и едят мед и орехи. В день второго – яблоки. Соответственно они называются в народе медовым и яблочным.

Корогод — хоровод.

Леха – земельная полоса в поле или на лугу.

Осень

Иванов Разумник Васильевич (1878–1946) – русский литературный критик, публицист. Печатался под псевдонимом Р. В. Иванов-Разумник. Есенин познакомился с ним в 1916 г.

Схимник — монах, который принял схиму – монашеский чин, предполагающий полное безмолвие и удаление от мира.

«Сохнет стаявшая глина...»

Аналой — подставка, на которую в церкви при богослужении кладут священные книги, иконы, крест.

Псалтырь — библейское собрание псалмов (всего 150) – песнопений, восславляющих Господа.

На осленке рыжем едет. – Имеется в виду вход Иисуса Христа в Иерусалим. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге» (Мк. 11, 7–8). Это событие каждый год отмечается Церковью в ближайшее воскресенье перед Пасхой, его еще называют Вербным.

Осанна — возглас, которым народ встречал Спасителя при его вступлении в Иерусалим. В древнееврейском языке использовался для прославления Божия помазанника – царя и означал: «Благословен идущий во имя Господа!» Он вмещал в себя и более обширное значение: «Боже, спаси и помилуй!», «Слава Тебе, Боже!»

«Чую Радуницу Божью...»

Радуница — вселенское поминовение усопших, которое совершается на десятый день после Пасхи. Иногда так называют всю вторую неделю после Светлого Христова Воскресения.

Богородицын покров. – Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 (1) октября установлен в память о событиях 910 г., когда во Влахернском храме Константинополя святому Андрею – Христа ради юродивому с его учеником Епифанием явилась Божия Матерь, державшая на молитвенно расprostертых руках блистающий покров (омофор). Тем она показала свою милость и защитила город от нашествия сарацин. Праздник начали отмечать на Руси волей святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Он же велел построить вблизи села Боголюбова под Владимиром первый Покровский храм, известный ныне как храм Покрова на Нерли (1165). Особое уважение и любовь, которыми издавна пользовался в России праздник Покрова, стали зримым выражением народной веры в небесное заступничество Богородицы и ее теплое участие в судьбах страны.

«За темной прядью перелесиц...»

Треба — так называется в Православии отправление церковного таинства или обряда.

«О красном вечере задумалась дорога...»

Поветь — крыша, покрывающая двор, обыкновенно соломенная.

«В багровом зареве закат шипуч и пенен...»

Стихотворение, которое Есенин, проходивший военную службу в Царскосельском госпитале, читал в июле 1916 г. на благотворительном концерте в присутствии Св. Стратотерпиц императрицы Александры Федоровны и великих княжон. Вероятно, оно было написано специально для этого случая. После концерта в числе других его участников поэт был представлен императрице. До оккупации г. Пушкина (Царское Село) немцами в период Великой Отечественной войны в архиве Екатерининского дворца хранилась рукопись этого стихотворения, выполненная славянской вязью и украшенная орнаментом за подписью поэта. Не исключено, что Есенин поднес ее государыне вместе со своей книгой «Радуница». Стихи отразили подлинный исторический факт: неустанную работу великих княжон в качестве сестер милосердия.

Святая Магдалина — Мария Магдалина, христианская святая, которая сподобилась первой увидеть Христа и говорить с Ним после Его Воскресения.

«Покраснела рябина...»

Дрожди – дрожжи.

«Не в моего ты Бога верила...»

Неопалимая Купина — чудесное явление Господа ветхозаветному пророку Моисею в виде горящего и не сгорающего куста терновника (купины); в Православии издавна понимался как образ и воплощение Божией Матери. Неопалимая Купина знаменовала собой непорочное зачатие; зажженная на грешной земле, была ни в чем не подвластна греху. Чудотворная икона Богородицы с таким названием прославляется 17 (6) сентября.

«Где ты, где ты, отчий дом?...» 1917–1922

«Серебристая дорога...»

Чисточетверговая свеча. – На утрени Великой пятницы, которая служитя вечером в Великий (чистый) четверг во время 12 евангельских чтений, верующие стоят с зажженными свечами в ознаменовании горячей любви к Спасителю. Принесенная домой четверговая свеча хранится в красном углу и возжигается в случае жизненных трудностей, искушений.

Пришествие

Одна из нескольких «космологических» поэм, написанных Есениным в 1917 г., где ясно обозначился разрыв поэта с православной традицией и полностью в духе революционного «обновления» трактовались евангельские образы и события.

Белый Андрей – псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880–1934), русского поэта и прозаика. Есенин познакомился с ним в феврале 1917 г.

Опять его вои Стегают плетьми. – Здесь вспоминаются мучения Христа в Страстную пятницу.

То третью песню Пропел петух. – Речь идет о предсказанном Иисусом троекратном отречении от Него апостола Петра: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня» (Мф. 26, 34).

Симоне Петр — Симон — первое имя апостола Петра. В Евангелии он часто называется одним из двух имен или же обоими сразу.

Елеон — гора в окрестностях Иерусалима, где в виду апостолов на сороковой день по Его Воскресении из мертвых произошло Вознесение Христово.

Дочерпуть волю Медведицей и сном. — Имеется в виду созвездие Большая или Малая Медведица. То и другое имеют форму ковша.

«О пашни, пашни, пашни...»

Коломенская грусть. — Коломна — старинный русский город на Оке, расположенный по пути из Рязани в Москву.

Исайя — великий ветхозаветный пророк VIII в. до Рождества Христова, который обличал отпадение народа Иудеи от истинного Бога и предсказал пришествие Спасителя — Мессии.

Инония

Инония — придуманное Есениным название утопического земного рая. Слово произведено от прилагательного «иной», но созвучно и другому определению: «новый». Высказывались также предположения, что оно восходит к просторечному «ино» — ладно.

Пророк Иеремия — один из ветхозаветных пророков, жил в VII — начале VI в. до Рождества Христова. Ему принадлежат Книга Иеремии, Плач и Послание, входящие в Библию. Есенинское посвящение было откровенным вызовом православному мирозерцанию, что вполне отвечало воинственно-богоборческому духу поэмы.

Млечный покров — Млечный Путь.

Китеж — древнерусский город, который, по преданию, скрылся под водой во времена татарского нашествия.

Индикоплов Козьма (Косма) — византийский купец, путешественник VI в. Написал книгу «Христианская топография», где на основе Библии выдвинул целостную теорию строения мира.

Часослов — православная богослужебная книга, заключающая в себе молитвы и песнопения суточного круга.

Радонеж — город, который находился в окрестностях нынешней Троице-Сергиевой лавры, откуда начался иноческий путь величайшего из русских святых — преподобного Сергия Радонежского (ок. 1321–1391).

На реках вавилонских мы плакали — цитата из первого стиха 136 псалма: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе».

Олипий Печерский — русский иконописец XI — начала XII в., причисленный к лику святых.

Слава в вышних Богу И на земле мир! — слова из Евангелия от Луки (2, 14). Они звучат в церкви во время утрени.

Назарет — город в Галилее, где жил до начала Своей проповеди Иисус Христос.

«Зеленая прическа...»

Кашина Лидия Ивановна (1886–1937) – владелица поместья в селе Константинова, знакомая Есенина. После революции – служащая. Она была отдаленным прообразом главной героини поэмы «Анна Снегина».

Сорокоуст

Сорокоуст — молебен в церкви в течение сорока дней о здравии или поминание за упокой.

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) – поэт, один из основателей творческой группы имажинистов, знакомый Есенина с 1918 г. Долгое время был близким другом Есенина. Они жили в одной комнате, вместе выступали, путешествовали. После смерти Есенина Мариенгоф напечатал о нем воспоминания «Роман без вранья» (1927).

Печенег – Печенеги – кочевые племена тюркского происхождения, неоднократно в X – XI вв. предпринимавшие набеги на Русь. В 1036 г. они были разбиты русскими и большей частью покорены.

Аллилуйя – в христианском богослужении слова, прославляющие Бога.

Исповедь хулигана

Не погребав — то есть не побрезговав.

Пегас – в греческой мифологии крылатый конь. От удара его копыта на горе Геликон забил ключ, откуда поэты черпали творческую силу. Стал символом поэтического вдохновения.

«Мир таинственный, мир мой древний...»

В первой публикации 1922 г. и некоторых последующих изданиях стихотворение называлось «Волчья гибель». Впоследствии Есенин снял это название.

Выбель — плесень, цвель.

Гать — плотина, дорога через насыпь в заболоченной местности.

«Не жалею, не зову, не плачу...»

По признанию поэта его последней жене, С. А. Толстой-Есениной, стихотворение возникло под влиянием Н. В. Гоголя, именно – лирического отступления в начале шестой главы «Мертвых душ»: «...Что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижимые уста. О моя юность! О моя свежесть!»

«Я обманывать себя не стану...»

Околоток — часть, конец города. Тверской околоток – округа Тверской улицы. С этим районом Москвы Есенин много лет был связан. В 1918–1922 гг. у него и Мариенгофа была комната вблизи Тверской, в Богословском переулке. Затем в 1924 г. поэт жил у Г. А. Бениславской, также неподалеку (Брюсов переулок). На Тверской находилось поэтическое кафе имажинистов «Стойло Пегаса». В Доме Герцена на Тверском бульваре Есенин неоднократно выступал со своими стихами.

«Я вновь вернулся в край осиротелый...» 1923–1925

«Я усталым таким еще не был...»

Под микитки — под ребра, под вздох.

Письмо матери

Шушун — женская верхняя одежда: шубейка, душегрейка.

«Мы теперь уходим понемногу...»

Первоначально стихотворение было напечатано под названием «Памяти Ширяевца». Поводом для его написания стала скоропостижная смерть Александра Васильевича Ширяевца (настоящая фамилия – Абрамов; 1887–1924) – поэта, с которым Есенин состоял в переписке с 1915 г. и лично познакомился в 1921 г. в Ташкенте. Есенин принимал участие в организации его похорон и выступал затем на поминках в Доме Герцена.

Пушкину

Стихотворение написано к пушкинскому юбилею (к 125-летию со дня рождения), который отмечался в 1924 г. 6 июня Есенин читал его на митинге у памятника Пушкину в Москве.

Стою я на Тверском бульваре. – Первый в России памятник Пушкину работы А. М. Опекушина был открыт в 1880 г. на Тверском бульваре. В 1950 г. его перенесли на бывшую Страстную (ныне Пушкинскую) площадь, где после уничтожения стоявшего там монастыря разбили сквер с фонтанами. К 100-летию со дня рождения Есенина, в 1995 г., ему установлен памятник на Тверском бульваре, выполненный скульптором А. Бичуковым, недалеко от того места, где прежде стоял памятник Пушкину.

Возвращение на родину

Маленькая поэма отразила впечатления, полученные Есениным в мае 1924 г., когда он впервые после заграничной поездки прожил несколько дней в Константинове.

Есенина Татьяна Федоровна (1875–1955) – мать С. А. Есенина.

Дед — Федор Андреевич Титов (1845–1927), в доме которого поэт воспитывался несколько лет в детстве.

Сестры — Екатерина Александровна (1905–1977) и Александра Александровна (1911–1981) Есенины.

По-байроновски наша собачонка Меня встречала с лаем у ворот — отголосок стихов из первой песни поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда» английского поэта Байрона (1788–1824): Отцовский дом покинул я;

Травой он зарастет;

Собака верная моя

Вить станет у ворот.

(Перевод И. И. Козлова)

Столетие со дня смерти Байрона достаточно широко отмечалось тогда в России.

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал». – Имеется в виду главный политико-экономический труд Карла Маркса (1818–1883), где выдвигалась теория смены «общественных формаций» и доказывалась неизбежность, по мысли автора, социализма и коммунизма. Идеологи Советской России видели в «Капитале» свою «священную книгу» и окружали его поистине религиозным поклонением.

Русь Советская

Сахаров Александр Михайлович (1894–1952) – друг Есенина, издательский работник. Поэт знал его с 1919 г.

Волость — здание сельской администрации.

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) – до революции герой Первой мировой войны, георгиевский кавалер, затем – советский военачальник, в Гражданскую войну – командир 1-й Конной армии, Маршал Советского Союза.

Перекоп. – Имеется в виду кровопролитный штурм в ноябре 1921 г. частями Красной Армии под командованием М. В. Фрунзе занятых войсками генерала П. Н. Врангеля укреплений на узком перешейке – Перекопе, отделяющем Крым от материковой России.

Демьян Бедный — литературный псевдоним Ефима Алексеевича Придворова (1883–1945), советского поэта, автора агитационных песен, частушек, а также басен и стихотворных фельетонов. В 1920–1930 гг. печатался исключительно много и был широко популярен.

Стансы

Чагин (настоящая фамилия – Болдовкин) Петр Иванович (1898–1967) – издательский работник, журналист, в годы его встреч с Есениным – второй секретарь Компартии Азербайджана и редактор газеты «Бакинский рабочий». По его приглашению в 1924–1925 гг. Есенин неоднократно приезжал в Баку. Чагину поэт посвятил сборник «Персидские мотивы». Дружба с ним во многом «диктовала» новые поэтические темы и настроения, которые Есенин пытался в то время освоить.

Тигулевка – помещение для арестантов, задержанных.

Ленин

Замысел поэмы «Гуляй-поле» возник у Есенина вскоре по завершении «Пугачева», зимой 1920/21 г. Существуют свидетельства о том, что летом 1924 г. она была близка к завершению и поэт читал ее своим друзьям. Вероятно, Есенин так ее и не закончил. Кроме печатного отрывка «Ленин», который является вполне самостоятельным произведением, другие части поэмы неизвестны.

Гуляй-поле – село в Екатеринославской губернии (ныне находится в Запорожской области), которое в годы Гражданской войны оказалось главным центром, «столицей» повстанческих отрядов под руководством анархиста Нестора Ивановича Махно (1889–1934), уроженца Гуляй-поля. Махновцы то воевали на стороне белых, то выступали в союзе с Советской властью. Есенин проявлял большой интерес и сочувствие к махновскому движению, которое было крестьянским по преимуществу.

Печенеги. – См. примеч. к стихотворению «Сорокоуст».

Метель

Кудель — пучок льна, пеньки, приготовленный для пряжи.

Весна

Завируха — метель, вьюга.

Повитель — выщелся полевое растение.

Письмо к женщине

Стихотворение, по некоторым сведениям, адресовано Зинаиде Николаевне Райх (1894–1939), в 1917–1921 гг. жене С. А. Есенина.

Попутчик — так называли в 1920-х гг. писателей непролетарского происхождения, которые сочувственно относились к революционным преобразованиям.

Живете вы с серьезным, умным мужем. — Эти слова можно отнести к В. Э. Мейерхольду (1874–1940), известному театральному режиссеру-новатору, у которого в театре играла З. Н. Райх и за которого она вышла замуж после развода с Есениным.

Собаке Качалова

Качалов (настоящая фамилия – Шверубович) Василий Иванович (1875–1948) – выдающийся драматический актер, народный артист СССР. Есенин познакомился с ним у него дома в марте 1925 г. Джим, его собака (по словам актера, ей было тогда не более четырех месяцев), сразу же вызвал у Есенина большое расположение. Несколько дней спустя поэт нанес Качалову новый визит, чтобы в шутивно-торжественной обстановке вручить Джиму посвященные ему стихи, но в отсутствие хозяина не смог этого сделать. В последующие месяцы, во время встреч с Качаловым в Москве и Баку, Есенин всегда спрашивал о Джиме и просил передавать ему привет.

«Заря окликает другую...»

Ножевые — разбойники; более смягченно – озорники.

«Прощай, Баку! Тебя я не увижу...»

Балаханский май. — Имеется в виду праздник 1 Мая 1925 г., который Есенин отмечал на рабочей маевке в бакинском районе Балаханы.

«Я красивых таких не видел...»

Шура — младшая сестра поэта, Александра Александровна Есенина.

«Мелколесье. Степь и дали...»

Венка – разновидность гармоники.

«До свиданья, друг мой, до свиданья...»

Согласно рассказам знакомых поэта В. И. Эрлиха и Е. А. Устиновой, эти стихи Есенин написал утром 27 декабря 1925 г. в ленинградской гостинице «Англетер» накануне своей смерти. По словам свидетелей, написанное собственной кровью стихотворение (Устинова вспоминала жалобы поэта на то, что в гостинице нет чернил) он вручил при встрече Эрлиху. В 1992 г. криминалистическая экспертиза подтвердила подлинность этой рукописи. Между тем вопрос об отношении стихов Есенина к событиям ночи с 27 на 28 декабря 1925 г., а возможно, и об их авторстве или же времени написания остается не до конца проясненным.

Персидские мотивы 1924–1925

Написанный в 1924–1925 гг. поэтический цикл по-своему отразил увлечение Есенина ирано-таджикской классической поэзией и его стремление побывать в Персии, которое он, особенно находясь в Закавказье, неоднократно высказывал. Поэт предпринимал также практические шаги для того, чтобы организовать поездку в Тегеран, которая, впрочем, так и не состоялась.

«Улеглась моя бывлая рана...»

Чадра – покрывало, в которое закутываются, выходя из дома, женщины-мусульманки, оставляя открытыми только глаза.

Хороссан — область на северо-востоке Ирана.

«Я спросил сегодня у менялы...»

Полтумана. – Туман – иранская золотая монета. Отменена в 1930–1932 гг.

Тише ванских струй. – Ван – озеро в Турции на Армянском нагорье, не имеющее стока.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»

Стихотворение навеяно встречами Есенина в Батуме зимой 1924/25 г. с Шаганэ Нерсесовной Тальян (1900–1981), в то время учительницей. В дальнейшем на страницах «Персидских мотивов» несколько раз это имя упоминается как уменьшительное Шага.

Шираз — город на юго-западе Ирана, родина великих поэтов Саади и Хафиза.

«Ты сказала, что Саади...»

Саади Муслихиддин – персидский поэт и мыслитель XIII в.

Широко известны его произведения «Гулистан» («Розовый сад») и «Бустан» («Плодовый сад»), а также любовная лирика.

«Свет вечерний шафранного края...»

Шафран — многолетняя трава, которую используют как пряность и краситель пищевых продуктов.

Хаям. – Имеется в виду Омар Хайям, персидский поэт и философ XI–XII вв. Мировую славу ему принесли его четверостишья – рубай.

«Воздух прозрачный и синий...»

Пери — один из духов персидской мифологии. У поэтов – символ возлюбленной или просто женской красоты.

«Золото холодное луны...»

Шахразада — героиня и рассказчица в собрании арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

«Голубая родина Фирдуси...»

Фирдуси — Абулькасим Фирдоуси, персидский поэт X – XI вв., создатель эпической поэмы «Шахнаме».

Урус – русский.

«Руки милой – пара лебедей...»

Если перс слагает плохо песнь, Значит, он вовек не из Шираза. – В апреле 1925 г. Есенин писал Г. А. Бениславской: «Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза».

Поэмы

Пугачев

Поэма создавалась в течение первой половины 1921 г. и была закончена к августу. В ее основу легли события охватившего значительную часть России казачьего и крестьянского бунта под предводительством Емельяна Пугачева в 1773–1775 гг. Есенин работал над ней напряженно и с большим увлечением: читал исторические материалы, побывал весной (по дороге в Среднюю Азию) в тех местах, где разворачивалось Пугачевское восстание: в Самарской и Оренбургской губерниях. Особенно большое значение придавал он «отделке» поэмы. «Помнишь «Пугачева»? – говорил поэт В. И. Эрлиху. – Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят!» Поэма принадлежала к числу самых дорогих Есенину его созданий. Он неоднократно читал ее на публике – целиком или отдельными главами. Существует выполненная в начале 1922 г. запись чтения поэтом первой части монолога Хлопуши из «Пугачева».

Яицкий городок — ныне город Уральск.

Чаган — река, приток Урала.

Яик — старое название реки Урал. Был переименован в 1775 г. Екатериной II с целью искоренить память о пугачевщине.

Третий Петр — Петр III (1728–1762), российский император в 1761–1762 гг.; свергнут в результате дворцового переворота и умер (вероятно, убит) девять дней спустя. Пугачев выдавал себя за него.

Бегство калмыков. – В 1771 г. часть калмыков, добровольно переселившихся в Россию из Китая, вследствие притеснения властей решила откочевать на историческую родину. Правительство пыталось предотвратить этот шаг силами яицких (уральских) казаков. Те отказались выступить в погоню, что послужило причиной для их мятежа в 1772 г.

Иргиз. – Вероятно, имеется в виду река в Казахстане. Существует также приток Волги с названием Большой Иргиз, часто упоминаемый в литературе о Пугачевском восстании, но расположенный в стороне от пути бегства калмыков.

Траубенберг Михаил Михайлович, фон – генерал, возглавлял следственную комиссию по делу о бегстве калмыков и отказе казаков принять участие в их преследовании.

Тамбовцев Петр Васильевич – яицкий войсковой атаман с 1768 г.; казаки жаловались на его самоуправство.

С Екатериною воюющий султан. – Речь идет о русско-турецкой войне 1768–1774 гг.

Таловый умёт. – Происшествие, описанное в поэме, случилось на отдаленном постоялом дворе – умете, который арендовал бывший солдат Степан Максимович Оболяев.

Алатырь — город и река в правобережном Поволжье.

Зарубин Иван Никифорович (1736–1775), больше известный по прозвищу Чика, – один из наиболее приближенных к Пугачеву его сподвижников.

Хлопуша — Афанасий Тимофеевич Соколов (1714–1774), беглый каторжник, известный соратник Пугачева.

Рейнсдорп Иван Андреевич (1730–1781) – во время Пугачевского восстания генерал-губернатор Оренбургского края.

Сакмара — приток Урала.

Оса, Сарапул — города в Предуралье, на реке Каме.

Сарепта — город на Волге южнее Царицына, ныне под названием Красноармейск вошел в состав Волгограда. От Сарепты Пугачев со своими отрядами направился в августе 1774 г. по направлению к Черному Яру, где был настигнут и наголову разбит войсками правительства.

Табинский острог. – Имеется в виду город Табынск (ныне – село Табынское) в Башкирии, где в марте 1774 г. был задержан властями Чика Зарубин.

Михельсон Иван Иванович (1740–1807) – русский генерал, который успешно воевал с Пугачевым и нанес ему решающее поражение.

Золоторотец — чистильщик отхожих мест.

И попасть до рассвета со мною в Гурьев. – Разбитый и окруженный со всех сторон царскими войсками, Пугачев вынашивал планы бежать в киргиз-кайсацкие (казахстанские) степи и оттуда, возможно, в Персию.

Гурьев – город в устье Урала, вблизи Каспийского моря.

Тамерлан (Тимур; 1336–1405) – полководец и государственный деятель, создатель обширного государства со столицей в Самарканде; известен своими завоевательными походами. В 1395 г. совершил поход на Москву, но, не дойдя до нее, вблизи Ельца повернул обратно.

Анна Снегина

Есенин работал над поэмой зимой 1924/25 г., находясь в Батуме. В ней нашли отражение впечатления поэта, полученные в 1917 и 1918 гг., когда он два лета подряд подолгу жил в Константинове и наблюдал революционные события на селе. Некоторые ее положения и ситуации носят автобиографический характер.

Воронский Александр Константинович (1884–1937) – литературный критик, редактор журналов «Красная новь» и «Прожектор», где выходили стихи Есенина.

Исправник — начальник уездной полиции.

Калифствовал — то есть был «калифом на час», недолго правил.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) – до революции адвокат, лидер фракции в Государственной Думе, летом и осенью 1917 г. – глава Временного правительства, Верховный главнокомандующий. Его кратковременная власть была отмечена внешним позерством, бессилием и губительными для страны иллюзиями. Прямым ее следствием стал большевистский переворот. С 1918 г. жил в эмиграции.

Ляоян — город в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии), где в августе 1904 г. произошло одно из наиболее жестоких сражений русско-

японской войны. Битва закончилась поражением России.

Порт-Артур — русская военная база на Желтом море, которая в 1904 г. героически выдержала одиннадцатимесячную японскую осаду. Душой обороны стал генерал Р. И. Кондратенко. После его гибели комендант Порт-Артура генерал А. М. Стессель согласился на капитуляцию, за что и был предан затем военному суду.

Нерчинск и Турухан — места каторги и ссылки.

Козлиная ножка — самодельная папироса, изогнутая вверх.

«Керенки» — так называли в народе деньги Временного правительства, которые ничего не стоили.

«Ходи» — в просторечии — денежные знаки времен революции и Гражданской войны, которые выпускали всевозможные «правительства» и местные власти.

Фефела — разиня, простофиля.

«Катка» — просторечное наименование сторублевой денежной ассигнации Российской империи, на которой была изображена Екатерина II.

Примечания

1 «Липа» — подложный документ. (Примеч. С. А. Есенина.)